ТЕОРИЯ, ДИСКУРС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (часть 2)

А.И. Швырков
Независимый исследователь

Аннотация: *Вторая часть монографии «Теория, дискурс и политическая реальность» посвящена различным приложениям общей теории, разработанной в первой части. В частности, исследуется вопрос о возможности рассмотрения теории демократии как аналога научно-исследовательской программы и применения к её анализу аппарата, аналогичного тому, который разработал И. Лакатос на материалах физики. Показывается, что в настоящее время теория демократии вступила в фазу стагнации. Приложение «Распад или становление?» является вкладом в разработку парадигмы, которая условно может быть названа парадигмой распада. Данная парадигма является альтернативой парадигме развития, главенствовавшей в западноевропейской науке последние несколько столетий, и призвана задать теоретические рамки для анализа систем, каждое последующее состояние которых предполагается более примитивным, чем предыдущее. Сформулированные идеи проиллюстрированы на примере государств бывшего Советского Союза, прежде всего — Украины. Отдельное приложение посвящено анализу проблемы, суть которой сводится к вопросу: управляют ли обществами аморальные люди? На основании ряда гипотез, связывающих аморальность, стремление к власти как самоцели и наличие у человека, одержимого таким стремлением, определённых психологических «дефектов» делается набросок соответствующей теории. Также рассматриваются проблема украинского национализма и роль интеллектуалов в политическом процессе.*

Ключевые слова: *теория демократии, научно-исследовательская программа, парадигма распада, интеллектуалы, мораль, аморальность, власть, управление, национализм.*

Предуведомление

Ниже будут приведены приложения теории, представленной в первой части монографии[1]. Там, где это необходимо, я буду делать отсылки к соответствующим местам теории, однако постараюсь не перегружать текст такими отсылками. Возможно, где-то мне не удастся избежать повторений или, по крайней мере, переформулирования под новый контекст тех или иных идей. Надеюсь, это не вызовет особых нареканий, тем более что те вопросы, которые будут рассмотрены, взяты из существенно различных областей.

[1] См.: Швырков А.И. Теория, дискурс и политическая реальность (часть 1). — Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. — 2016. — № 1. — С. 26–91; примеч. редактора.

Следует отметить, что то, что будет излагаться ниже, будет характеризоваться некоторым *смешением терминологии*: с одной стороны эти приложения служат иллюстрацией разработанной мной концепции, которая существенным образом критически ориентирована в отношении ко многим политологическим теориям, с другой стороны — я буду вынужден пользоваться понятиями, взятыми из этих теорий. Связано это с тем, что, разработав некую глобальную теорию, я ещё не развил в полной мере её понятийный аппарат. Тем не менее, надеюсь, что сказанное в первой части позволит понять, до какой степени следует воспринимать используемые мной понятия буквально.

Ещё один момент.

Большинство приложений, представленных ниже, основаны на моих статьях, которые были написаны *до* появления общей теории. Этот факт вроде бы должен ставить под вопрос возможность их рассмотрения как её приложений. Однако подобное логическое (или я бы сказал, *хронологическое*) затруднение легко разрешить. Дело в том, что довольно часто общая, абстрактная теория так или иначе вырастает из конкретных исследований или, по крайней мере, развивается *рядом*, *параллельно* с ними (так, пожалуй, было в моем случае). То есть любое такое конкретное исследование либо содержит в себе *предчувствие* теории, либо *корреспондируется* с нею. Хотя конкретные исследования могут иметь свою собственную логику развития, образовывать вполне независимую от общей теории систему, благодаря такому корреспондированию по крайней мере часть из них вполне может либо служить иллюстрацией этой теории, либо способствовать прояснению тех или иных её положений. В любом случае, конкретные исследования можно попытаться переписать в той новой логике, которую задаёт общая теория (что я и сделаю ниже).

Многие вопросы, оставшиеся не до конца прояснёнными в конкретных исследованиях, могут найти свое решение именно в контексте более общей, созданной позднее (или создававшейся параллельно) теории. Нередко такая теория позволяет исправить допущенные в этих исследованиях ошибки (как это будет, например, в случае с моим исследованием теории демократии — см. ниже). Она также позволяет привнести, или, точнее, увидеть в них, этих исследованиях, некую новую логику, логику, неочевидную при иных обстоятельствах.

Всё это, очевидно, и позволяет рассматривать движение в направлении от общей теории к исследованиям, из которых (или параллельно которым) она выросла, как вполне правомерное и не противоречащее логике.

Приложение 1. Теория демократии как аналог научно-исследовательской программы

Многие идеи этого приложения были первоначально опубликованы в моей статье, которая называлась «Конец демократии? или Демократия как научно-исследовательская программа» [Швирков 2010]. В ней я попытался использовать аппарат теории научно-исследовательских программ, разработанный И. Лакатосом на материалах физики, для анализа теории демократии [Лакатос 2003][2]. Несмотря на то, что под большинством высказанных тогда идей я подписался бы и теперь, основной посыл был не совсем верен. Прежде всего потому, что, строго говоря, теория демократии не является научно-исследовательской программой. Она возникла не как научно-исследовательская программа, и мы вряд ли можем утверждать, что впоследствии она полностью в такую программу трансформировалась (хотя отчасти это, вероятно, так). Однако как же быть с моей только что заявленной готовностью подписаться под

[2] Обзор работ, в которых нечто подобное было сделано для экономических теорий, можно найти в Гурова 1998. См. также: Blaught 1986; Eggertson 1992; Glass 1989.

сформулированными в упомянутой статье идеями? Объяснение этому есть, хотя и довольно парадоксальное. Суть его в следующем.

Хотя по своей природе теория И. Лакатоса вряд ли подходит для анализа теории демократии, многими её, теории научно-исследовательских программ, результатами действительно можно пользоваться для такого анализа, поскольку возможно создать теорию, в рамках которой подобный анализ будет корректен и которая по своей форме будет сходна с теорией И. Лакатоса (или по отношению к которой эту последнюю можно будет рассматривать как её *частный случай*).

Постараюсь пояснить эту мысль как раз на примере своей статьи.

Итак, теория И. Лакатоса в её чистом виде (и даже модифицированном — а именно такую теорию И. Лакатоса я использовал) не может применяться к теориям типа теории демократии. Это связано прежде всего с тем, что теория И. Лакатоса была разработана на материалах физики, то есть *естественной* науки. Естественные же науки имеют принципиально отличную от гуманитарных наук направленность, структуру, принципиально иные цели, методы и проч.[3] По крайней мере (памятуя основные методологические установки данного исследования) мы должны предполагать, что такое использование не будет в достаточной степени корректно, если у нас есть хоть малейшие сомнения на этот (то есть приложимости теории И. Лакатоса к исследованию теории демократии) счёт — а такие сомнения, безусловно, есть.

Однако при всем при этом, в своих общих чертах массив теорий, который мы называем теорией демократии, может существенным образом *походить* на массив теорий, которые И. Лакатос называет научно-исследовательской программой (на самом деле являющейся массивом или последовательностью физических теорий). Хотя способы формирования этих массивов могут отличаться друг от друга, их форма, структура, законы трансформации могут в значительной степени совпадать. Аналогично, могут быть сходны законы «борьбы» между различными научно-исследовательскими программами и законы борьбы между массивами теорий типа массива теорий, называемого теорией демократии. Именно поэтому, очевидно, применение теории И. Лакатоса к последним и может давать вполне удовлетворительные результаты — хотя, повторюсь, само это применение не является строго научно обоснованным.

Другими словами, мы можем применять при анализе гуманитарных теорий (точнее, массивов таких теорий) положения *типа* положений теории И. Лакатоса, хотя по сути (или, наоборот, *формально*) эти положения должны быть положениями совсем другой теории, теории, которая на самом деле ещё *не существует* (либо существует, но без осознания связи между нею и данными положениями).

Именно этими соображениями и объясняется тот факт, что я могу подписаться под практически всеми выводами упомянутой статьи, хотя по сути (или, опять же, формально) мой подход к теории демократии с точки зрения теории И. Лакатоса был некорректен.

Однако в этом случае за мной остаётся долг — долг разработать (или указать) теорию, аналитический аппарат которой будет сходен с аналитическим аппаратом теории И. Лакатоса и при этом сама теория будет более адекватна объекту, по отношению к которому этот аппарат будет применяться. Этот долг я во многом исполнил выше. Речь идёт, разумеется, о той концепции, которая была представлена в первой части (прежде всего в разделе «Теория-реальность»).

Эту концепцию следует рассматривать как такую, которая выступает по отношению к теории И. Лакатоса либо как её обобщение, либо как аналог (для гуманитарной сферы). Я склоняюсь к первому варианту (как я уже указывал выше). Однако, поскольку демонстрация того, что теория научно-исследовательских программ является частным случаем разработан-

[3]См., например: История и философия… 2006; Философия науки… 2007.

ной мной концепции, потребовала бы значительных усилий и поскольку для целей данной части, вообще говоря, не существенно, в каком отношении находятся эти две теории, я не вижу смысла это делать.

Таким образом, в данном приложении я попытаюсь *переписать* свою ранее опубликованную статью, поместив свои рассуждения в несколько иной контекст и, так сказать, на более прочное теоретическое основание.

Однако для этого мне придётся несколько конкретизировать представленную выше, слишком абстрактную для моих теперешних целей, теорию. Причём сделать это я постараюсь именно с помощью теории И. Лакатоса. Точнее, я воспользуюсь теорией И. Лакатоса как чем-то вроде *шаблона* для того, чтобы представить свою теорию в более удобном для дальнейшего использования виде. Отчасти я буду использовать и его терминологию, правда несколько видоизменяя её смысл.

Кто-то мог бы сказать, что по факту всё сводится к тому, что я просто модифицирую его теорию так, чтобы её можно было использовать в сфере гуманитарных наук (как я сам и утверждал в упомянутой статье). Несмотря на кажущуюся справедливость подобного замечания, оно по сути своей неверно. Как следует из сказанного выше, теория, которая призвана выступить в качестве аналога теории И. Лакатоса для гуманитарной сферы, *должна* быть сходна с его теорией во многих отношениях. Различия же между этими теориями по большей части коренятся как раз в существенно различном понимании терминов, которые в них используются — именно поэтому я и сказал, что буду видоизменять смысл тех или иных терминов, используемых И. Лакатосом. В свою очередь то, как именно я буду это делать, решающим образом зависит от контекста, задаваемого той общей теорией, которая была выстроена в первой части.

Короче говоря, та теория, которую я представлю ниже, по своей *форме* действительно напоминая теорию И. Лакатоса, по своему *содержанию* будет *совершенно другой* теорией (то есть не модификацией лакатосовской). Но, естественно, только такой *подменой смыслов* всё не ограничится.

Итак, коль скоро теория И. Лакатоса послужит шаблоном для наших дальнейших построений, есть смысл кратко напомнить её основные положения.

Как известно, историю науки (точнее, в основном физики) И. Лакатос представлял как процесс постепенной смены одной *научно-исследовательской программы* другой. Подобная программа, по его мнению, состоит из твёрдого *ядра* — то есть набора неких основополагающих для данной теории положений, которые запрещено ставить под сомнение в рамках данной программы — и пояса гипотез ad hoc, призванных защищать ядро от опровержения фактами, могущими дать для этого основания. Например, твёрдое ядро механики И. Ньютона — это его знаменитые три закона механики и закон всемирного тяготения. Гипотезы ad hoc — это гипотезы, более или менее удачно объясняющие опыты и наблюдения, вроде бы противоречащие этим законам.

Приведу простой пример. Пусть в соответствии со следствием из некоторой физической теории величина, измеряемая в некотором опыте, должна быть равна определённому значению. Однако по результатам измерений оказывается, что измеренное значение существенно отличается от предсказанного теорией. В соответствии с концепцией И. Лакатоса, это вовсе не означает, будто теория ложна, так как наличие такого несоответствия можно объяснить какими-то неполадками в приборе, с помощью которого проводились измерения. Подобное объяснение и есть гипотеза ad hoc.

В структуру программы входят также отрицательная и положительная эвристики. Отрицательная эвристика запрещает подвергать критике в рамках программы положения, составляющие её ядро. Положительная эвристика — это принципы, приёмы исследований, прово-

димых в рамках данной программы. Например, в программе И. Ньютона одним из принципов, составляющих положительную эвристику, был следующий: «Планеты — это вращающиеся волчки приблизительно сферической формы, притягивающиеся друг к другу» [Лакатос 2003: 83].

В некоторый момент времени может существовать несколько научно-исследовательских программ, борющихся друг с другом. В ходе этой борьбы, как правило, на первый план постепенно выходит одна из них, остальные же оттесняются на периферию. Однако это вовсе не означает, что какая-то из них по прошествии некоторого времени не может оттеснить лидера — в этом коренное отличие теории И. Лакатоса от теорий К. Поппера и Т. Куна, трактующих примерно те же вопросы.

Программа является *теоретически прогрессивной* (образует теоретически прогрессивный сдвиг проблем), если каждая новая теория, появляющаяся в рамках данной программы, имеет какое-то добавочное эмпирическое содержание по сравнению с более ранней теорией, то есть предсказывает некоторые новые, ранее неизвестные факты. Программа будет *эмпирически прогрессивной*, если какая-то часть этого добавочного содержания является подкреплённой, то есть каждая новая теория действительно ведёт к открытию новых фактов. Научно-исследовательская программа будет *прогрессивной*, если она и теоретически, и эмпирически прогрессивна. Если нет, — регрессивной. Таким образом, можно утверждать, что если программа прогрессивна, то она достаточно успешно выполняет свои функции. Если регрессивна, — то нет. Прогрессивный сдвиг, как правило, обеспечивается изменениями в положительной эвристике.

Итак, теория И. Лакатоса задаёт план, шаблон построения теории, которая позволит проводить в сфере гуманитарных теорий анализ, аналогичный тому, который теория И. Лакатоса позволяет проводить в сфере естественнонаучной. Однако прежде, чем перейти к построению такой теории, следует прояснить ещё один важный момент.

Не может ли оказаться так, что теория демократии на самом деле не является единым массивом теорий, то есть массивом, объединённым неким набором общих принципов или черт, а содержит в себе *несколько* таких массивов — которые и должны рассматриваться как аналоги научно-исследовательских программ? Или, в ещё более радикальной формулировке: возможно ли, что теория демократии — это на самом деле *просто* массив теорий, то есть массив, состоящий из теорий, не связанных между собой какими-то глубинными принципами? Очевидное следствие из справедливости подобного предположения — ни о каком *ядре* теории демократии вести речь нельзя. Остановлюсь на этом последнем, более радикальном, варианте.

В пользу подобной точки зрения вроде бы свидетельствует множество обстоятельств. Например те, на которые указывает К. Скиннер [Skinner 1969]. Напомню, что К. Скиннер считал, что существование «вечных тем» в философии — это не более чем иллюзия, что, говоря по видимости об одних и тех вещах, философы часто на самом деле имеют намерение выразить совершенно разные идеи и т. д.[4] Соответственно, например те тексты, которые учёный мир относит к *каноническим*, на самом деле таковыми не являются.

Хотя я полностью разделяю эти идеи К. Скиннера, я, тем не менее, не считаю, что их непосредственным следствием является невозможность рассмотрения теории демократии как аналога научно-исследовательской программы. Прежде всего потому, что К. Скиннер рассматривает те или иные философские теории и идеи преимущественно в их отношении к *фактам*, а не к другим теориям. В этом смысле и канонические тексты, и вечные идеи дей-

[4] Например, после прочтения работ К. Скиннера те связи, которые А.М. Салмин в своей уже неоднократно упоминавшейся книге устанавливает между работами Дж. Локка, Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо стали казаться мне несколько натянутыми.

ствительно легко утрачивают такой свой статус (каноничности и вечности). Однако ситуация меняется, если рассматривать теории в отношении не к фактам, а *друг к другу*. В этом случае теории вполне могут образовывать во многом замкнутую саму на себя целостность, систему — например, ссылаясь друг на друга или используя сходные наборы понятий[5]. Можно предположить, что на каком-то этапе в результате накопления определённой массы теорий в действие вступают законы, так сказать, *внутренние* для такой массы. В этом случае новые теории могут рождаться не только (а может быть, и *не столько*) в связи с появлением новых фактов, но и благодаря *другим теориям*.

Также не следует слишком легко относиться к факту *конвенционального признания* того или иного набора теорий целостностью. Ведь именно благодаря подобным конвенциям и становятся возможны такие науки, как, например, политология. Рискну предположить, что конституирование той или иной науки — особенно гуманитарной — путём выделения её *предмета* является ничем иным, как *рационализацией*, закреплением постфактум той ситуации, которая сложилась вследствие совсем иных причин (например, тех, которые я указал в предыдущем абзаце).

Важно отметить, что конвенциональное признание некоторого массива теорий не *просто* массивом всегда сопровождается выделением набора канонических для этого массива набора теорий, а также составлением списка основных их тем. Можно сказать, что этот процесс (выделения канонических теорий и основных их тем) — это и есть процесс консолидации массива теорий-аналога научно-исследовательской программы. Завершение этого процесса — суть главный признак консолидации.

Что касается теории демократии, то момент её консолидации можно, вероятно, отнести к 50-м годам прошлого столетия. Именно тогда появляются соответствующие разделы учебников, соответствующие учебные курсы, да и просто такое словосочетание — «теория демократии».

Именно с этого момента те или иные философы или учёные начинают рассматриваться как такие, которые «заложили основы» теории демократии, сформулировали её основные проблемы, разработали её понятийный аппарат и т. д.

Появлению теории демократии также предшествовало появление значительного количества государств, именовавших себя «демократическими». Вероятно, этот факт во многом послужил толчком для институционализации разнообразных исследований, дотоле, возможно, слабо друг с другом связанных, в качестве теории демократии.

---

[5] Ситуация в чем-то сходная с той, которая возникает при попытке отнесения того или иного предмета к некоторому классу. Приведу цитату Т. Куна, в которой автор толкует позицию Л. Витгенштейна по этому вопросу (привожу её не как подтверждение моей позиции, разумеется, а скорее как метафору, призванную её, эту позицию, прояснить).

Итак, «что необходимо знать, спрашивает Л. Витгенштейн, чтобы недвусмысленно… использовать такие слова, как „стул“, „лист“ или „игра“?

Этот вопрос далеко не новый. Обычно, отвечая на него, говорят, что мы обязаны знать, сознательно или интуитивно, что представляет собой стул, лист или игра. Иными словами, мы должны иметь способность схватывать некоторую совокупность неотъемлемых свойств, которыми обладают все игры и только игры. Однако Витгенштейн пришёл к выводу, что… нет необходимости в такой совокупности характеристик. Хотя обсуждение некоторых из неотъемлемых свойств, присущих ряду игр, стульев или листьев, часто помогает нам научиться использовать соответствующий термин, нет такого ряда характеристик, которые одновременно применимы ко всем элементам класса и только к ним… Мы применяем термин „игра“, поскольку то, что мы видим, обнаруживает значительное родовое сходство с рядом действий, которые мы ещё раньше научились называть этим именем. Короче говоря, для Л. Витгенштейна игры, стулья и листья составляют естественные группы, каждая из которых установлена благодаря сетке частично совпадающих и пересекающихся сходных свойств. Существование такой сетки достаточно для того, чтобы объяснить нам успех в определении соответствующего объекта или деятельности» [Кун 1977: 71–72].

Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что именно с появлением теории демократии всё большее число исследований стало посвящаться анализу именно существующих «демократических» государств, а не построению абстрактных моделей идеального общественного устройства (подробнее об этом — ниже). То есть демократия становилась в большей мере объектом изучения и в меньшей — умозрительного конструирования.

Итак, данные соображения дают нам некоторые основания предполагать, что массивы теорий типа того, что мы называем «теория демократии», действительно могут рассматриваться как не просто массивы, а как массивы, определенным образом структурированные.

Далее мы вправе предположить, что, по аналогии с естественнонаучными программами, каждый из таких массивов может иметь *ядро*.

Подобное ядро, вообще говоря, не обязательно должно полностью содержаться в некой *первичной* теории (это, кстати сказать, справедливо и для естественных наук)[6]. Вполне возможно, что оно будет «размазано» по разным теориям, причём отстоящим друг от друга на значительные временные промежутки. Очевидно, что такими теориями могут быть только канонические теории.

Можно предположить, что ядро не только «размазано» по каноническим теориям, но и полностью в них содержится. В силу этого, а также иных особенностей гуманитарного знания, выделить ядро массива теорий типа теории демократии значительно труднее, чем ядро естественнонаучной программы.

Можно также предположить, что поскольку ядро естественнонаучной программы выделить легче, чем её гуманитарного аналога, первичность выделения канонической теории (теорий) не замечается. Или, точнее, этому просто не придаётся особого значения. Наоборот, когда мы имеем дело с гуманитарными теориями, то сначала, как правило, выделяем некую теорию (корпус теорий), и лишь затем переходим (можем перейти) к попыткам сформулировать ядро. При этом содержание положений, составляющих данное ядро, может практически до бесконечности переинтерпретироваться.

И снова вопрос. Не значит ли этот последний факт, что нам следует отказаться от самого понятия ядра и остановиться лишь на уровне канонических теорий (тем более что для того, чтобы считать некий массив гуманитарных теорий собственно массивом, достаточно выполнения менее строгих условий — о некоторых из них речь уже шла выше)?

Думаю, на самом деле это не вопрос выбора, поскольку процесс переинтерпретации некоего ограниченного набора положений, содержащихся в канонических теориях — суть важнейший процесс построения любой гуманитарной теории. Однако такой переинтерпретируемый набор положений — это и есть ядро.

Другими словами, как бы мы ни относились к возможности выделения ядра, способ построения любой теории по своей форме — это во многом не что иное, как процесс такого выделения (с последующей интерпретацией выделенного ядра). Более того, такой способ по-

[6] В качестве таких первичных теорий для теории демократии обычно указывают теории Платона или Аристотеля. Однако, как кажется, чаще теорию демократии возводят к теориям, возникшим в Новое время (например, Т. Гоббса или Дж. Локка) [Салмин 2009]. Вероятно, причины следует искать в том, что между Новым временем и эпохой античности существует довольно большой разрыв, причём как в плане времени, так и в плане наличия теорий. Возможно, это обусловлено также тем, что тематика и понятийный аппарат произведений философов Нового времени нам ближе, чем тематика и понятийный аппарат античности или даже философов средневековья.

Ещё один важный момент — язык. Если с греческим или латынью знакомы сегодня лишь единицы, то тот же английский — это язык, на котором говорит большинство учёных.

Кроме приведённых причин можно, конечно, указать и массу других.

строения теории является важнейшим основанием для утверждения, что говорить о массивах теорий, аналогичных научно-исследовательским программам, действительно корректно[7].

Надеюсь, приведёнными рассуждениями я несколько уменьшил опасения по поводу возможности построения той теории, о которой говорил в начале этого приложения и могу перейти к собственно её построению (повторюсь: используя для этого теорию И. Лакатоса как нечто вроде плана).

Итак, начнём с *ядра* теории демократии. Как уже было сказано, однозначно определить ядро для массивов теорий, подобных теории демократии, гораздо труднее, чем набор канонических теорий (последнее легко осуществить, просто воспользовавшись *статистикой* — какие теории чаще всего упоминают, когда говорят о современной демократии и её истоках, те и являются каноническими[8]). Тем не менее, это возможно. Причём примерно тем же способом: к каким понятиям и идеям чаще всего обращаются в соответствующей литературе, вокруг каких понятий и идей образуется наиболее плотное «облако» толкований, те понятия и идеи и являются образующими ядро.

Как я попытался показать выше, о формировании «пула» канонических теорий и, соответственно, о возможности выделения ядра теории демократии, говорить стало возможным сразу после того, как произошло оформление некоего множества теорий в таком качестве (то есть в качестве теории демократии). О таком оформлении свидетельствовало появление соответствующих учебных курсов, учебников, *словарей*. По И. Лакатосу, ядро — это всегда достаточно небольшое число положений, причём положений хорошо известных и относительно простых. Поэтому для того, чтобы сформулировать положения, составляющие ядро теории демократии, именно словарём нам и сто́ит воспользоваться.

Итак, «Демократия (греч. Δημοκρατία — «власть народа», от δῆμος — «народ» и κράτος — «власть») — вид политического устройства государства или политической системы общества, при котором единственно легитимным источником власти в государстве признаётся его народ. При этом управление государством осуществляется народом либо напрямую (прямая демократия), либо опосредованно, через избираемых представителей (представительная демократия).

…Главная формула понятия демократии… заключена в формулировке «Права и Свободы Человека и Гражданина» где «Права» являются категорией законодательно-регулируемой свободы, а «Свободы» — формой свободы необходимой для бытового использования и прямо нерегулируемых законодательством, но являющихся неотъемлемой частью Концепции Общества закреплённой в Основном Законе» [Демократия… б/г.].

Вот ещё в том же духе, только короче: «На всём протяжении истории демократические государства различались между собой. Тем не менее, они имеют следующие общие черты:

• признание народа источником власти, сувереном в государстве
• равноправие граждан как исходное социальное состояние
• подчинение меньшинства большинству при принятии решений и их выполнении
• выборность основных органов государства» [Демократия: теория… б/г.].

Таким образом, можно предположить, что ядром теории демократии будут утверждения типа следующих: высшая власть в государстве принадлежит (должна принадлежать) всем

[7] Разницу между положениями, составляющими ядра в естественных науках и в науках гуманитарных, таким образом, можно определить так: в естественных науках положения, составляющие ядро программы — это, так сказать, *краеугольные камни* соответствующих теорий, в гуманитарных же — это *камни преткновения*.

[8] Указанию К. Скиннера в [Skinner 1969] на то, что для понимания истинных интенций автора той или иной «канонической» теории, а также для реконструкции «духовной» ситуации эпохи необходимо обращаться и к произведениям авторов третьестепенных здесь, очевидно, следовать не имеет смысла, поскольку речь в данном случае идёт не о толковании намерений автора такого канонического произведения и не о «духовной ситуации времени», в которое он жил, а, скорее, «весе» его произведения в массиве теорий.

гражданам, все люди имеют (должны иметь) равные права, все люди свободны (должны быть свободны) и т. п. (по поводу долженствования — см. ниже).

Отрицательная эвристика теории демократии, очевидно, запрещает ставить под сомнение (естественно, в рамках этой теории) данные положения, как каждое в отдельности, так и все вместе.

Прежде чем перейти к рассмотрению положительной эвристики теории демократии, необходимо сделать некоторые уточнения относительно того, что следует считать прогрессивным сдвигом проблем в случае теорий, касающихся общественного устройства (в том числе, разумеется, и теории демократии).

Как известно, теории, входящие в массив теорий, именуемый теорией демократии, разделяют на *нормативные* и *дескриптивные*. Нормативные теории представляют модели общества, реализация которых, по мнению их создателей, должна привести общество к такому состоянию, когда требования, сформулированные в положениях ядра (или отдельных его компонентах) будут удовлетворены в максимальной степени. Дескриптивные теории — это теории, которые описывают режимы, называющие себя демократическими. Я бы ещё выделил в отдельную категорию теории, которые анализируют, почему реализация той или иной нормативной теории не привела к достижению необходимого результата[9]. Назову такие теории *критическими*. В свою очередь совокупность критических и дескриптивных теорий предлагаю назвать *эмпирической* частью теории демократии.

Как же следует понимать прогрессивный сдвиг проблем в случае теорий общественного устройства вообще и теории демократии в частности? Думаю, учитывая только что сказанное, наиболее вероятной версией будет следующая.

О прогрессивном сдвиге проблем вести речь следует тогда, когда реализация некоторой модели приводит к такому состоянию общества, которое в наибольшей степени удовлетворяет требованиям, вытекающим из положений ядра. Если будет сочтено, что такой прогрессивный сдвиг не наблюдается, идеальная модель может подвергнуться пересмотру (разумеется, при сохранении ядра).

Положительной эвристикой в случае теорий общественного устройства, очевидно, будет набор принципов и подходов, благодаря применению которых этот сдвиг достигается[10]. Например, такой: человек — суть социальный атом, преследующий собственные цели.

Основная проблема, касающаяся прогрессивного сдвига для массивов теорий типа теории демократии, состоит в том, что увидеть сдвиг, *ощутить* его чаще всего можно только через значительный промежуток времени после воплощения теории. Наличие этого временного лага является основанием для обоснованного сомнения в том, что удовлетворение государством/обществом требований теории было достигнуто именно вследствие воплощения теории. По сути, речь идёт о достаточно произвольном решении того или иного философа или

[9] См., например: Хантингтон 2004. Естественно, на самом деле отношение между моделью и реальностью гораздо сложнее, чем я описал. Ведь модель может создаваться не только априори, но и во многом основываться на действительно существующих государственных и социальных системах. Вспомним хотя бы теорию идеального государства Платона, построенную в значительной своей части по образцу общественного устройства Спарты — то есть реально существовавшего государства.

[10] Возвращаясь в этой связи к проблеме доказательства возможности рассмотрения массива теорий типа теории демократии в качестве аналога научно-исследовательской программы, следует отметить, что вообще говоря, утверждение, что все тела притягиваются и что все люди свободны, по своей *форме* ничем не отличаются друг от друга. Однако первое является дескриптивным, а второе — нормативным. Точно также, по своей форме нормативная теория не отличается от дескриптивной. Когда мы говорим о возможности существования аналога научно-исследовательских программ в сфере гуманитарного знания, всё упирается только в характер связи между теориями внутри некоего их массива, а не в само существование этой связи. Однако, поскольку характер этой связи всё-таки различен, постольку использовать теорию И. Лакатоса в гуманитарной сфере непосредственно, как таковую, нельзя.

учёного начать пересмотр теории в связи с тем, что, как ему показалось, «воплощение» прежних теорий не привело к требуемому результату. Учитывая, что даже самое точное воплощение той или иной теории не гарантирует реализации положений, составляющих ядро, такой пересмотр, вообще говоря, может начаться в любой момент. Причём поводом для этого могут послужить совершенно случайные обстоятельства, обстоятельства, непосредственно не касающиеся проблематики теории (например, поражение в войне, экономический кризис и т. п.).

Ещё один важный момент.

То, что большинство современных политических институтов — в том числе ассоциируемых с демократией — сложились задолго до появления их, этих институтов, теорий (иногда даже до появления письменности вообще) вовсе не означает, что мы не можем иметь нормативных теорий этих институтов. Это следует из таких очевидных утверждений: 1) любой институт становится институтом только после того, как о нём начинает говорить теория (по-другому — попадает в политических дискурс *как* институт); 2) такая теория, как правило, является нормативной, то есть предписывающей этому институту выполнение тех или иных функций; 3) выполнение этих функций призвано способствовать реализации абстрактных принципов, лежащих в основе теории (ряда теорий); 4) институт (часто «реформированный» в теории) полагается как основное средство для реализации этих принципов.

Ниже мы ещё вернёмся к данному вопросу, правда уже в другом контексте (там этот вопрос будет рассмотрен в терминах *приписываемой* и *предписываемой* функций).

Также важным представляется вопрос о соотношении нормативной и эмпирической частей теории демократии (и вообще любого гуманитарного аналога научно-исследовательской программы).

Очевидно, что при зарождении теории демократии массовая доля первой была значительно больше второй — это был период создания «канонических» теорий (теорий Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Дж.С. Милля, А. Токвилля и проч.). Можно сказать, что в это время философы *не боялись фантазировать* (хотя что им ещё оставалось, коль скоро эмпирические методы исследования ещё не были развиты, для проведения эмпирических исследований не существовало материальной базы).

По мере развития теории (или её *воплощения*), соотношение массовых долей существенно менялось: нормативная часть увеличивалась медленно, эмпирическая же росла быстро (очевидно, с развитием социологии, в том числе прикладной — см. ниже)[11].

Перейдём теперь к *поясу защитных гипотез*. Здесь мы наблюдаем следующую ситуацию. Поскольку гипотезы ad hoc призваны объяснить несоответствие тех или иных фактов теории, генерацию таких гипотез обеспечивает только *эмпирическая* часть рассматриваемой нами теории (коль скоро факты — это область опыта). В этом состоит одно из важнейших отличий данной теории от естественнонаучных программ.

По каким признакам можно судить о том, что возможности той или иной теории (массива теорий-аналогов исследовательской программы) на исходе? Как уже говорилось, об этом свидетельствует то, что программа не обеспечивает прогрессивного сдвига проблем. Однако это слишком общий, абстрактный критерий. Его трудно применять на практике — особенно когда мы говорим о гуманитарных теориях. Более эффективен другой. А именно: *судить о том, что аналог исследовательской программы начинает исчерпывать свой ресурс, можно по стабильному увеличению количества генерируемых гипотез ad hoc*. Но за генерацию таких гипотез в интересующем нас случае отвечает *эмпирическая* часть теории. Поэтому первейший — совершенно формальный — признак того, что некий гуманитарный аналог

[11] «Благодаря Токвилю и его последователям демократия становится предметом эмпирико-социологического изучения, а не только философского или исторического анализа» [Салмин 2009: 20]. Хотя роль А. Токвиля только этим, разумеется, не исчерпывается.

научно-исследовательской программы входит в фазу стагнации — это стабильное увеличение его эмпирической части[12].

При этом нормативная часть, вообще говоря, также может расти. Однако эта нормативная часть, как кажется, утрачивает свою самостоятельность и первичность: те или иные нормативные положения возникают как существенным образом укоренённые в эмпирическом материале, полностью подчинённые ему. Они, как правило, не столько являются дополнением к ядру или тем более альтернативой составляющим его утверждениям (ядро, как мы помним, не может быть поставлено под сомнение), сколько служат его временным паллиативом. В случае с теорией демократии типичный пример такой ситуации даёт концепция *полиархии* Р. Даля [Даль 2010].

Как известно, в современную политологию термин «полиархия» был введён в употребление Р. Далем в 1953 году. Под полиáрхией (др.-греч. πολυαρχία — «многовластие, власть многих») он понимал политическую систему, основанную на открытой политической конкуренции различных групп в борьбе за поддержку избирателей.

Помимо прочего термин «полиархия» используется для того, чтобы отличать современные реализации демократии в национальных государствах как от идеала, так и от исторических разновидностей демократии в городах-государствах. Р. Даль рассматривает полиархию как «очищенный» вариант существующих систем и приходит к выводу, что её институты необходимы (хотя, возможно, недостаточны) для достижения «идеальной» демократии. Модель полиархии также используется в качестве стандарта для измерения уровня демократии.

Таким образом, поскольку из анализа фактов следует, что *народовластие* практически нигде не наблюдается (и не наблюдалось), концепция полиархии может рассматриваться как некая временная альтернатива, паллиатив первоначальным моделям, задаваемым каноническими теориями. При этом некая степень нормативности, как следует из вышесказанного — разумеется, меньшая, чем присущая первоначальным моделям — присуща и модели полиархии.

Следует добавить, что поскольку концепция полиархии была создана в значительной степени в результате критического анализа эмпирического материала, рассматриваемого в качестве результатов попыток воплощения первоначальной модели (задаваемой каноническими теориями), она во многом является *вторичной* по отношению к этому материалу.

Можно предположить, аппроксимируя рассмотренный пример, что упадок той или иной гуманитарной традиции (как по-другому можно ещё назвать аналог научно-исследовательской программы в гуманитарной сфере) как раз и сопровождается формированием «нисходящей последовательности» таких вторичных нормативных моделей, каждая из которых «менее нормативна», «менее идеальна», чем предыдущие[13].

Может возникнуть вопрос, почему такая последовательность должна быть именно «нисходящей»? Почему бы ей не быть «восходящей» или «колеблющейся»? Второй вариант в принципе возможен, хотя, как мне кажется, в целом тренд всё равно будет понижающим. Объясняется это тем, что для того, чтобы он был повышающим, *«реальность» должна превосходить наши самые смелые ожидания* — поскольку «планка» заданная каноническими теориями, как кажется, слишком высока. Либо, по-другому, особенности нашей природы за-

[12] Учитывая сказанное выше о выделении ядра массива теорий-аналога научно-исследовательской программы, можно предположить, что сам факт осознания возможности выделения ядра также сигнализирует о том, что такой аналог вступил или вот-вот вступит в фазу стагнации.

[13] В качестве примера ещё одного элемента такой последовательности можно указать теорию К. Поппера [Поппер 1992]. Напомню, что в указанной работе К. Поппер призывает к созданию такой политической системы, которая бы имела своей главной целью не столько обеспечение «максимального блага для максимального числа людей», сколько обеспечение гарантий от худшего правления.

ставляют нас всегда вкладывать в утверждения, составляющие ядро теории демократии (как, впрочем, и любой социально-политической теории), такой смысл, что как бы «хорошо» всё ни обстояло, мы никогда не будем удовлетворены.

Возвращаясь к разграничению на нормативную и эмпирическую части теории демократии, следует заметить, что как кажется, её первую, нормативную, часть чаще всего развивали и развивают философы, вторую же, эмпирическую — социологи и политологи. Причём за последние 50–60 лет действительно серьёзные труды по теории демократии чаще всего писали именно эти последние. Это, очевидно, свидетельствует о наличии большого количества фактов, которые заставляют приспосабливать, «приноравливать» нормативные теории к фактам, или, точнее, приспосабливать факты к теории. Конечно, это далеко не всегда делается с помощью гипотез ad hoc, однако обойтись без них такое приспособление, как правило, не может. Можно предположить поэтому, что самый простой — причём совершенно формальный — признак того, что некоторый гуманитарный аналог естественнонаучной программы входит в фазу упадка — это стабильное увеличение количества конкретно-научных (политологических, социологических и проч.), то есть *нефилософских* теорий, посвящённых соответствующей проблематике. Что касается содержания таких теорий — то они часто носят *критический* характер[14].

Подытоживая вышесказанное, можно предположить, что в настоящее время теория демократии во многом исчерпала себя, перестала давать *прогрессивный сдвиг проблем*.

Этот факт, конечно, вовсе не означает, что в ближайшем будущем так называемые демократические режимы начнут рушиться или даже приходить в упадок. Однако собственно теория будет всё больше и больше вязнуть в «контрпримерах», а количество гипотез ad hoc множиться. Всё меньше и меньше серьёзных исследователей — в первую очередь философов — будут посвящать себя разработке теории демократии.

Следует ли ожидать выход на передний план новой, конкурирующей теории[15]? Очевидным претендентом на подобную роль могут выступить разного рода элитистские теории[16]. Что правда, та же теория Р. Даля может рассматриваться как некий гибрид демократических идей и идей элитистских.

Думаю, не следует отбрасывать и тот вариант, что пройдя фазу упадка, но так и не будучи оттеснённой каким-либо иным аналогом научно-исследовательской программы, теория демократии вновь наберёт силу. Однако для этого, очевидно, понадобится создание нового пула канонических нормативных теорий (нечто подобное, как кажется, произошло в Новое время — именно поэтому я и предлагаю отсчитывать возраст современной теории демократии с 16–17 вв.).

Ещё несколько заключительных вопросов.

Какое время может существовать гуманитарный аналог научно-исследовательской программы? Одинаково ли оно для любых таких аналогов или для каждого свое? Насколько сильно может трансформироваться первоначальная модель с течением времени? И главное, насколько «увядание» программы зависит от *внешних* факторов и насколько от *внутренних*?

---

[14] Цитата, отчасти подтверждающая, отчасти резюмирующая сказанное: «Мы не можем более рассматривать демократию как конечное воплощение идеалов, противопоставляемых несовершенной действительности. Здравый взгляд на демократию уже не отождествляет её со всем самым прекрасным и совершенным, что только способна вообразить самая буйная фантазия. Необходима трезвая критическая оценка, предусматривающая понимание возможных недостатков демократии как предпосылку их исправления» [Мангейм 2000: 168].

[15] Напомню, что по И. Лакатосу программы редко уходят в небытие: у любой из них есть шанс «вернуться», а учитывая то, что жёсткость, непосредственность связи между социально-политической теорией и реальностью наблюдается редко, для таких теорий такая возможность ещё более вероятна, чем для естественнонаучных.

[16] Один из последних вариантов, вариантов, так сказать, информационной эры, представляет Зодерквист, Бард 2004.

Как уже говорилось, вслед за многими исследователями я склонен полагать, что ядро современной теории демократии начало формироваться в 17-м веке и в основном сформировалось к середине 19-го. Всё последующее время ушло на создание пояса защитных гипотез. Поскольку сегодня теория демократии, судя по всему, вступила в фазу стагнации, можно предположить, что время жизни данной программы — около 350 лет. Вряд ли эта цифра является «магической». Вполне возможно, что у других аналогов научно-исследовательских программ будет совсем другое время активной «жизни».

Что касается остальных вопросов, то для того, чтобы на них ответить, необходимо провести дополнительные, достаточно обширные изыскания.

Приложение 2. О роли интеллектуалов. Столкновение теории и реальности

Любые теории имеют своих создателей и *носителей*. Психологические и интеллектуальные особенности этих создателей творцов и носителей не могут не сказываться как на содержании теорий, так и на способе их, теорий, взаимодействия с реальностью.

В настоящее время стало почти общим местом констатировать системный, сущностной кризис экономической, политической и прочих систем. Причём о нём говорят не только политологи и социологи, стоящие, условно говоря, на левых позициях[17], но и вполне либеральные экономисты[18]. Также все они сходятся на невозможности сегодня предсказать, к чему собственно всё идёт — это, очевидно, обусловлено сущностной слабостью теорий, о которой неоднократно речь шла выше.

Однако проблема не только в том, что теории не хватает, но и в том, что даже та теория, которая существует, далеко не всегда используется в достаточной мере (если вообще используется). Если вновь вспомнить К. Поппера, то следует констатировать, что даже его умеренный план продвижения вперёд *малыми шагами* (что можно толковать как меру, призванную скомпенсировать недостаток теории) не особенно реализуется [Поппер 1992]. Не в последнюю очередь это, очевидно, происходит из-за того, что интеллектуалов *не слушают*. Почему же их не слушают и главное, *что с этим делать*?

На мой взгляд, для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо учесть следующие моменты.

1. Все люди различаются помимо прочего тем, на какое расстояние они «видят», на какую глубину способны анализировать ту или иную проблему. Количественно это выражается в том, со сколькими теориями и насколько глубоко знаком тот или иной человек и сколько фактов и насколько удачно он способен под них подводить (по идее, *предсказания* в результате такого подведения получаются автоматически).

Понятно, что чем образованнее человек, тем эта глубина больше. Реакция, вообще, отношение к тем или иным событиям того или иного человека непосредственно зависит от глубины анализа, на который он способен. Тот, кто видит вещи в более глубокой перспективе, видит дальше и реагирует на более отдалённые события. Однако, реагируя сегодня на эти, по сути, ещё не наступившие события, он как бы действует совершенно в ином временном масштабе, как бы ускоряет время, или, более точно, пропускает, выбрасывает тот промежуток времени, через который они должны (могли бы) наступить. Эти события для него — суть *настоящее*. Если другие люди не способны видеть так далеко, поведение этого «дальнозоркого», его реакции, его, я бы сказал, *паника* им не понятны (вспомним старую историю с Кассандрой). Поэтому они просто не видят причин действовать определенным образом.

---

[17] См., например: Валлерстайн 2003; 2004.

[18] См., например: Туроу 1999.

Именно этот механизм или феномен лежит в основе недоразумений, возникающих между аналитиками и политиками, между учёными и практиками. По сути, речь идёт о том, что те и другие живут по разным «часам». То, что для одних — уже настоящее, для других — очень отдалённое, возможно даже фантастическое будущее. Однако проблема в том, что мир так устроен, что ресурсами, рычагами, способными воздействовать на общество, экономику и т. п., обладают именно практики. Почему существует такое соотношение, здесь не место обсуждать. Критическая масса дальнозорких теоретиков, достаточная для того, чтобы повлиять на близоруких практиков, как правило, накапливается очень редко. И поэтому политики часто начинают действовать только тогда, когда неблагоприятные события, которые уже давно предсказывали аналитики и которых поэтому вполне можно было избежать, уже наступили[19].

2. «Дальнозоркие» — это, как правило, люди с развитым системным мышлением. Системным в том смысле, что они во всём видят или хотят видеть систему, структуру, завершённость. Причём система эта, её функционирование должно быть по возможности подчинено некоему абстрактному принципу. Например, равновесия, сбалансированности, справедливости, блага и т. п. Именно поэтому в произведениях великих и не очень мыслителей, касающихся государственного устройства и функционирования экономики, столь важное место отводится соответствующим понятиям (утописты, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, А. Смит). И именно поэтому, вероятно, среди революционеров-«уравнителей» всегда так много было представителей высших образованных классов — ведь именно таким людям, как я сказал, свойственно стремление к сбалансированности, то есть, по сути, *равенству*.

Отсутствие этого принципа, отсутствие подчинения абстрактному принципу в реальности, в действиях тех или иных людей, сил и проч. вызывает у «дальнозорких» беспокойство, неудовлетворённость, стремление всё исправить. История мысли также даёт нам огромное количество примеров этого.

В этой связи фундаментальное противоречие в писаниях «дальнозорких», касающихся жизни общества, политики, состоит в том, что они стремятся дать законченное, систематизированное описание действий тех, кто в своих действиях как раз и не руководствуется стремлением к законченности, совершенству, систематичности и т. п. Другими словами, они стремятся навязать, предписать свой способ отношения к реальности тем людям, для которых этот способ отношения к реальности является нехарактерным, а то и чуждым. То есть людям действия, политикам. Однако именно политики меняют «политический ландшафт». Таким образом, приходим к старому доброму противоречию между «как надо» и «как на самом деле»[20].

Эти два момента конституируют следующую типичную ситуацию, точнее, составляют её стороны. Попробую описать её следующим образом.

Любые процессы в обществе чаще всего инициируются и руководятся людьми, обладающими не самым лучшим «зрением» и не самыми систематизированными представлениями об устройстве общества и государства. Представления эти также далеко не всегда подчинены какому-либо абстрактному принципу. Действия этих людей приводят к определённым последствиям. Последствия могут формировать объективные тенденции, которые в свою очередь улавливают «дальнозоркие» — аналитики, учёные и т. п. Последние пытаются выделить и зафиксировать данные тенденции, проследить, куда они ведут, и сформулировать те или иные рекомендации, следование которым позволит в будущем избежать тех негативных по-

[19] См., например: Хилсмэн 1957.

[20] «Во многих случаях теоретик оказывается недостаточно хорошо информированным относительно происходящего в реальном мире, именно это и приводит к появлению далёких от жизни теорий» [Алексеева 2000: 262].

следствий, к которым ведут действия политиков. Однако рекомендации эти и, вообще, оценка тенденций и их последствий, основаны на представлениях, во многом чуждых и непонятных «близоруким» деятелям. Чужд им, прежде всего, *способ* систематизации этих представлений, верховный принцип, которым они подчинены. Вследствие этих моментов деятели могут, во-первых, по-другому, т. е. не так, как «дальнозоркие», оценивать степень негативности тех или иных результатов развития событий, во-вторых, не улавливать степень временной близости или актуальности этих результатов и, в-третьих, не видеть смысла в приведении существующего положения вещей в соответствие с системой, предлагаемой «дальнозоркими».

Думаю, время, в которое мы живём, даёт достаточно иллюстраций приведённому выше описанию[21].

Хочу подчеркнуть, что я отнюдь не считаю, будто «дальнозоркие», т. е. учёные, аналитики, вообще, мыслители «правильнее» «близоруких», т. е. политиков. Хотя мои симпатии и могут в большей мере находиться на стороне первых (прежде всего потому, что именно к ним я отношу себя). Также должен заметить, что я не отрицаю возможность существования индивидов, в которых способность к действию и научному (или какому-то ещё) предвидению равно развиты, сбалансированы.

Ещё один важный момент, на который мы должны обратить внимание, состоит в следующем. Большинство книг, в том числе касающихся экономических, политических и прочих прогнозов, пишут «дальнозоркие». Реальные политики пишут мало и нечасто, а если и пишут, то, как правило, *не своими руками*. Однако именно по писанному, *через* написанное большинство людей воспринимают ситуацию, судят о ней (см. выше). «Дальнозоркие», таким образом, навязывают читающей и всей прочей публике своё видение реальности, видение, характеризующееся теми особенностями, о которых только что шла речь. Политики же, то есть люди, которые непосредственно принимают управленческие решения, имеют, как уже тоже говорилось, видение реальности, существенно отличающееся от видения реальности «дальнозоркими», и действуют они в соответствии со своим видением, а не с видением «дальнозорких», то есть не так, как *предписано* в трудах последних. Именно этим и обусловлено то иногда разительное, вопиющее несоответствие между рекомендациями аналитиков — вполне вроде бы здравыми и разумными — и действиями политиков. Этим же объясняется и такое же кардинальное расхождение между действительностью — за создание большей части которой ответственны политики — и той картиной, которую мы видим в совокупности произведений социологов, политологов и проч.[22]

---

[21] «А сейчас обратимся к некоторым, на наш взгляд, уязвимым сторонам гуманистического идеала. Они состоят в следующем:

а) В смешении элитарной среды с миром вообще. Гуманист претендует на то, что его интересы „всеобщи“, хотя в действительности интересуется лишь собственным миром образованной части общества. В рамках этой сферы гуманист обладает изощрённой способностью улавливать самые тонкие нюансы значений. Вне их ему не хватает самого примитивного понимания элементарных фактов. Люди совершенно иного социального плана, не имеющие ничего общего с гуманистической средой, вынуждены компенсировать односторонность такого „универсального“ взгляда. Сам же гуманист не может преодолеть этот недостаток своего идеала.

б) В слабом знании грубой реальности жизни. „Культура“ может стать важнейшим делом в жизни только для людей, которые никогда не сталкивались с проблемами жизни и смерти, безопасного существования и катастрофических ситуаций, триумфа или упадка. Для групп, постоянно имеющих дело с такими реальностями, этот идеал слишком мягок. Они не могут понять, почему созерцание и книжное образование должны стоять в ряду самых возвышенных и благородных дел и почему борьба за существование сама по себе должна рассматриваться как что-то низменное и постыдное. С их точки зрения, может быть, и хорошо предаваться созерцанию или время от времени играть чистыми идеями, но они не могут иметь дело с людьми, которые чувствуют себя настолько уверенно в жизни, что способны лишь играть словами о людских трагедиях» [Мангейм 2000: 217].

[22] А сколько усилий интеллектуалы тратят на то, чтобы убедить себя в том, что реальность таки соответствует их писаниям!

Однако ситуация на самом деле ещё запутанней. Дело в том, что *политики должны говорить*. Они должны говорить с другими политиками, с аналитиками, с народом, наконец[23]. Говорить же они могут только с помощью тех концептов, тех теорий, на том *языке*, который им предоставляют аналитики — ибо именно эти последние *дают людям слова*, в этом их роль и предназначение. Таким образом политики погружаются во многом чуждую им языковую и, следовательно, *смысловую* среду.

Поэтому к пишущему меньшинству и молчаливому большинству [Бодрийар 2000] мы должны присоединить *говорящее* меньшинство, причём говорящее меньшинство хотя и говорит на языке пишущего — просто потому, что другого у него нет — однако же думает и действует часто совершенно не так, как от него ожидают меньшинство пишущее и большинство молчаливое.

Отчасти ситуацию — особенно в последнее время — пытаются исправить тем, что дают поговорить пишущему меньшинству, то есть «дальнозорким». Я имею в виду регулярно выступающих на телевидении и остальном медиа-пространстве «аналитиков». Однако это мало меняет дело, так как решения принимают всё равно *другие* люди.

Очевидно, здесь мы имеем дело с проблемой соотношения картины мира[24], задаваемой интеллектуалами, с картиной мира, имплицитно присутствующей в головах большинства людей (в том числе и самих интеллектуалов). Имплицитно в том смысле, что как правило, она чётко не оформлена — прежде всего *вербально* — не представляет из себя некой целостности. Однако *довлеет* всегда целостность. Другими словами, при отсутствии собственной целостной вербально оформленной картины мира и при наличии чужой целостной вербально оформленной картины мира, эта последняя занимает «святое место». Картина же, создаваемая интеллектуалами, полна иллюзий — в силу особенностей их жизни и психологии — она полна воздушных замков (выше я попытался по-другому охарактеризовать её в терминах системности, структурированности, подчинённости абстрактным принципам). При этом, как уже говорилось (правда, в несколько иных терминах), действуем мы, как правило, в соответствии с имплицитной картиной мира, а поясняем свои действия — прежде всего самим себе — в соответствии с эксплицитной.

Возможно, интеллектуалы предоставили — пусть и не сознательно — политикам ту очень плотную *ширму*, за которой последние сумели скрыть подлинную природу политики, политической борьбы[25]. И дело даже не в словесном оформлении тех или иных политических

---

[23] Ситуация, возможно, *культурно обусловленная*. Вот что пишет К. Леви-Стросс: «…Обратимся к нашей цивилизации, где речью пользуются, так сказать, неумеренно: мы говорим кстати и некстати, нам достаточно любого повода, чтобы выражать свои мысли, задавать вопросы, комментировать… Это злоупотребление языком совсем не универсально, оно встречается не так уж и часто. Большинство культур, называемых нами первобытными, пользуются языком весьма бережливо» [Леви-Строс 2001: 73].

[24] Употребляю это словосочетание, памятуя про все те оговорки, которые были сделаны в отношении соответствующего понятия выше.

[25] «Несомненно, интеллигенция часто была и есть лишь поставщиком идеологий для определённых классов» [Мангейм 2000: 119].

«Воспитывали ли они (интеллектуалы — А.Ш.) Власть, обязывая её оставаться подчинённой некой благодетельной сущности? Направляли ли они её в нужное русло, устанавливая средства контроля, способные принудить её к верности? Ограничивали ли они её, сокращая ту долю суверенного права, которую ей позволено осуществлять?

Большинство авторов теорий суверенитета имели то или иное из этих намерений. Но среди этих теорий нет ни одной, которая бы в конце концов, рано или поздно отклонившись от своего первоначального замысла, не усилила бы Власть, дав ей мощную поддержку невидимого суверена, с которым та стремилась — и ей это удавалось — отождествляться. Теория божественного суверенитета привела к абсолютной монархии, теория народного суверенитета ведёт сначала к суверенитету парламента, а в конечном итоге — к плебисцитарному абсолютизму» [Жувенель 2011: 55].

«акций», их *информационном прикрытии* — как сейчас принято выражаться, — а в первую очередь в том, что интеллектуалистская картина мира со всеми её упомянутыми выше особенностями настолько укоренилась в разуме обывателя, что он начал верить в то, что истинное положение дел, время от времени прорывающее эту картину, есть лишь временная аберрация, отклонение от правильного, *реального*. Истиной же, реальностью служит именно эта картина, ширма. И с каждым годом эта ширма становится всё более толстой, всё более плотной, а теории, на которых она основывается, всё время дополняются, развиваются. И человеку требуется всё больше и больше усилий, чтобы прорваться сквозь неё. О плотности и *нерушимости* ширмы помимо прочего свидетельствует и тот факт, что, несмотря на то, что именно в 20 веке произошли самые жестокие и разрушительные войны, мы всё равно продолжаем верить в институты демократии, либеральные ценности, могущество разума и т. п.

Что же можно сделать, чтобы хотя бы немного сократить разрыв между политической реальностью, задаваемой действиями политиков, и языком, на котором они говорят? Особо оригинальный рецепт здесь предложить трудно. Никаким *фокусом*, никаким ловким *щелчком пальцами* этот разрыв не ликвидируется. Речь может идти только о постепенном, медленном его сокращении. Хотелось бы конечно, чтобы движение началось с обеих сторон. Но даже если будет двигаться только одна сторона — уже хорошо. Предположим, что это будут «дальнозоркие». В чем будет состоять их шаг навстречу? Должны ли они попытаться обуздать свою склонность к систематизации, структуризации? Или может быть им стоит пожертвовать — хотя бы отчасти — какими-либо из своих абстрактных принципов? Думаю, что второе более предпочтительно. Надо понимать, что речь здесь идёт вовсе не о том, чтобы превратиться в аморальных людей (именно политиков часто к таковым относят — об этом ниже). Речь в большей мере идёт об осознании *относительности* и *историчности* этих принципов. На мой взгляд, нас гнетёт груз этических концепций сто- а то и тысячелетней давности. Возможно, это связано с некоторым отставанием этики от других направлений философии. Возможно — с тем, что современная политология и социология по большей части всё ещё укоренены в политических теориях и теориях идеального общества и государства, созданных в 18 веке (а то и раньше) — об это уже шла речь выше. Возможно, нам следует воспользоваться более современными философскими концепциями и на них строить *новую политологию*. Правда, какие это могут быть концепции? Может быть, и политология, и социология (как её предшественница и прародительница), являясь детищем позитивизма, вообще должны уйти в прошлое?

Однако не только *принципами* следует «пожертвовать» (хотя бы частично). Следует существенно ослабить и степень структуризации теорий, вообще, построений. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Речь не идёт о том, чтобы искусственно примитивизировать своё мышление, речь идёт о том, чтобы не ожидать и, главное, не требовать от общества и политиков большей системности в мышлении, чем та, на которую они способны. Хотя бы для того, чтобы так искренне не возмущаться и не удивляться тому, что пророчествам *не внемлют*. Другими словами, аналитикам следует вводить поправку на меньшую приверженность политиков красивым, законченным теоретическим построениям и конструкциям.

На самом деле это только повысит результативность прогнозов. Здесь, кстати сказать, мы сталкиваемся с одной интересной, я бы даже сказал, парадоксальной особенностью политического и экономического прогнозирования и анализа. А именно: если аналитик указывает на возможность наступления некоторого события, и к нему прислушиваются, адекватно реагируют и таким образом избегают негативных последствий, то аналитик как бы оказывается *неправ* (поскольку событие, им предсказанное, не наступило). Более того, часто даже нельзя убедиться в том, что предсказанные им события произошли бы, если бы не были приняты данные меры. С другой стороны, если к его словам не прислушаются и некое событие всё-

таки произойдёт, получится, что он был *прав*. Это станет видно всем с совершенной очевидностью. Соответственно, слава его как предсказателя мгновенно зашкалит. Возможно, что не особенная активность аналитиков в плане продвижения своих прогнозов частично связана с желанием славы (пусть и кассандровой). Также не стоит забывать и про их интеллектуальную гордость («не слушали — теперь получите»).

Как же тогда оценить результативность прогноза? Тем, что он осуществился, или тем, что благодаря прогнозу негативных последствий удалось избежать? Учитывая, что было сказано выше, я предлагаю эффективность работы аналитика оценивать *количеством раз, когда к нему прислушались и поступили так, как он советует*. При этом, естественно, негативные последствия реализации предложенных им мер должны быть существенно меньше, чем предсказываемые им в случае нереализации этих мер. Такой способ оценки вполне коррелирует с призывом снизить требования (и ожидания) приверженности политиков абстрактным принципам («добра», «справедливости», «равновесия» и проч.), а также ввести поправку на меньшую склонность (и доверие) последних к построению законченных, *хорошо структурированных* теорий.

Действительно, следование этому призыву сделает прогнозы аналитиков более понятными и близкими политикам, что в свою очередь приведёт к тому, что к этим прогнозам станут чаще прислушиваться. При этом результат, действительно желаемый аналитиком, естественно, достигнут, скорее всего, не будет (то есть реальность не будет в достаточной мере перестроена в соответствии с его сокровенными представлениями и мечтами). Однако это всё же будет больше, чем то *ничего*, которое он очень часто имеет сейчас. Опять же, и обществу в целом будет польза[26].

Должен заметить, что речь ни в коей мере не идёт о том, чтобы добиться своего, используя знания психологии оппонента (коим в данном случае по отношению к аналитику выступает политик), то есть банальном манипулировании. Речь идёт о том, чтобы скорректировать свои установки сообразно реальности (частью которой — пусть и достаточно специфической — являются политики), *не замыкаться в башне из слоновой кости.*

Короче говоря, желая меньшего, получишь хоть что-то, желая большего — рискуешь не получить ничего…

Как уже говорилось, массив «высоколобой» литературы в значительной степени есть нечто самодостаточное, существующее практически независимо от реальности. Иногда, правда, его используют в качестве покрова, её прикрывающего, покрова, который не столько повторяет «рельеф местности» — экономический ли, политический ли — сколько сглаживает его острые углы, скрывает пропасти и т. п. Причём, хочу заметить, это касается не только «заказной» литературы, которая имеет своей целью как раз скрыть что-то. Этот случай меня вообще не интересует, поскольку там как раз всё понятно. Это касается прежде всего серьёзных произведений, написанных серьёзными исследователями (типа уже упоминавшегося Г. Киссинджера).

Конечно, можно сказать, что ситуация эта вполне нормальна, что между теорией и практикой всегда существует некий разрыв, что теория часто в значительной степени независима от практики. Однако следует помнить, что мы говорим об экономике, политологии и социологии, а не о теоретической физике или математике. Перечисленные гуманитарные дисциплины не только направлены на *изучение* реальности, они своей важнейшей частью ориентированы на *преобразование* реальности…

[26] То, что я довольно часто говорю о прогностических возможностях теории, вовсе не означает, что я считаю такую функцию теории главной. Вполне возможно, что функция прогноза (важнейшая для естественных наук) в науках социально-политических вытесняется функцией *проектной*. То есть аналогом пары «объяснение-прогноз» в таких науках будет пара «объяснение-*проект*».

Дополнения

Моя оценка роли интеллектуалов хотя и не слишком высока, однако всё же выше, например, такой, которую подразумевает следующая цитата: «Где именно интеллектуалы могли бы оказаться полезными в сложившейся ситуации (современной — А.Ш.)?.. Если интеллектуалы отказываются от роли духовных наставников и политического авангарда, что, на мой взгляд, они должны сделать, чтобы не попадать в прежние ловушки, то политически у них остаются две функции — демистификаторов официоза и артикуляторов установок и надежд тех социальных групп, с которыми они себя (так или иначе) отождествляют» [Капустин 2010: 410–411].

Не могу не упомянуть следующий интересный подход к политическому прогнозированию и основанный на нем способ *воздействия* на власть предержащих, который предлагается С.В. Лурье и Л.Г. Казаряном. По мнению этих авторов, «…***застолбление прогноза на художественном образе, а не на аналитических суждениях, снимает барьеры для взаимопонимания между политологом и политиком.*** И даёт возможность политику составить мнение о его соответствии действительности на основе собственного опыта и личностного восприятия, не впадая, по модели коммуникации князя Олега и волхва, в чреватую печальным исходом зависимость от терминологических ухищрений, процедур аргументации и осведомлённости прогнозиста. Тем самым, политик обретает новую свободу осознания и моментального парирования внешнеполитических вызовов в одиночку» [Лурье, Казарян 2012: 97].

Ещё несколько моментов.

Многое из того, о чём было сказано выше (особенно «2-й момент»), может вызывать стойкие ассоциации с понятием *идеального типа* М. Вебера, поэтому я считаю необходимым дать некоторые разъяснения по этому поводу.

1. Идеальный тип у М. Вебера — это в первую очередь *метод исследования*. У меня акцент делается на вопросе об изменении реальности, её коррекции, а также тех коррекциях, которым должна подвергнуться теория.

2. У М. Вебера не прослеживается диалектика отношений картины мира, создаваемой интеллектуалами, и собственно политического дискурса, за генерацию которого ответственны профессиональные политики.

3. У меня упор делается прежде всего на те тексты, которые главным своим содержанием имеют прогнозы, лучшее будущее общественное устройство и т. п. У М. Вебера же в рамках его метода сравниваются описание того, что должно быть, с тем, что *уже* есть.

4. Насколько я понимаю, у него вообще речь не идёт о коррекции текстов в соответствии с психологическими особенностями политиков, их видением мира. У меня же на этом делается основной упор.

И последнее (уже не касающееся М. Вебера): считаю необходимым подчеркнуть, что выше речь шла не столько о том, что теоретики должны сделать свои теории более адекватными «реальности», более «правильными», сколько о том, что они должны пересмотреть — насколько это возможно — свои установки относительно собственных теорий, свои *требования* к этим теориям. Речь шла о том, чтобы изменить, скорректировать форму теорий так, чтобы сделать их более понятными для тех, кто, возможно, станет их применять, то есть сделать их более понятными политикам. Хотя, безусловно, осуществив предложенную коррекцию, теоретики действительно сделают свои теории более адекватными реальности, поскольку, во-первых, политики и *их* установки — это часть реальности, и, во-вторых, этими теориями просто станут чаще пользоваться, *меняя реальность в соответствии с ними.*

Попытка реализации предложенных принципов была сделана мной в двух ранее изданных статьях [Швирков 2009; 2011]. Следующее приложение представляет собой переработанное изложение идей этих статей. Следует отметить, что концепция, которая будет представлена, изначально разрабатывалась для того, чтобы послужить основой для формирования политического дискурса.

Возможно, в некоторых местах приведённый ниже материал в приложении к Украине может выглядеть несколько устаревшим — в связи с событиями конца 2013 – начала 2014 годов. Однако это не уменьшает его ценности в качестве иллюстрации. Тем более, что речь там идёт о периоде, который мной на момент публикации упомянутых статей прямо характеризовался как *переходной*.

Приложение 3. Партия-ФПГ или каким мог бы быть дискурс

Думаю, в настоящее время ни у кого уже не вызывает сомнения тот факт, что традиционные идеологические партии сходят с политической сцены — по крайней мере на время. Их идеологические одёжки окончательно износились и при всей своей былой красе и яркости ни у кого уже не вызывают воодушевления и всплеска эмоций[27].

Напротив, сегодня мы можем наблюдать переход к новой форме партийной организации, а именно партиям, которые я назвал партии-ФПГ, и которые являются политическим продолжением финансово-промышленных групп (отсюда и название)[28].

Именно они вытеснили — теперь это можно с уверенность утверждать — партии идеологические.

В отличие от традиционных идеологических партий, партии-ФПГ не формируются спонтанно на основе какой-то абстрактной идеи, а создаются вполне сознательно для продвижения конкретных бизнес-проектов, лоббирования интересов и т. п. (не стоит путать такие партии с чисто техническими проектами, основная цель которых, например, расколоть электорат, чтобы «оттянуть» голоса у конкурентов). Необходимость для бизнеса таких проектов вполне понятна. Политическое поле имеет свою структуру, свои законы, свои правила игры, свои требования к игрокам, свой язык. Партии-ФПГ, таким образом, являются чем-то вроде органов, отвечающих за связи с общественностью, которые существуют во всякой крупной компании. Одна из главнейших задач их — реализовать тот или иной бизнес-проект. Как правило, это осуществляется под прикрытием тех или иных политических идеологий (чаще всего — модифицированных хорошо знакомых).

Естественно, полностью соблюсти конспирацию удаётся далеко не всегда, очень часто реальные цели бизнес-групп, стоящих за партией-ФПГ, вылезают на поверхность, давая политическим противникам такой партии повод для обличений. Однако через какое-то время другая партия, возможно та, что обличала, сама попадает в сходное положение и в свою очередь становится объектом обличительных акций. За последние 20 лет мы могли наблюдать множество подобных примеров. Именно в такой форме происходит борьба различных ФПГ в политическом поле, перенесённая туда из поля экономического.

---

[27] Причины упадка традиционных идеологических партий я указал в упомянутой статье, поэтому я не стану здесь на этом останавливаться. О современной партийной системе, прежде всего стран бывшего Советского Союза см., например: Политическая конкуренция… 2009; Политическая наука… 2010.

[28] Как пишет П. Игнаци, «…если массовая партия была побочным продуктом индустриального общества, а всеохватывающая — выражением перехода от индустриального к постиндустриальному, то какая модель партии созвучна обществу постмодерна или „текучему“ обществу? В действительности ещё не выработано никакого специфического типа партии, способного „схватить“ нынешнюю эволюцию» [Игнаци 2010: 55]. На самом деле, как мне кажется, такой тип уже существует, однако не выработаны научные представления о нём. Этот текст — мой вклад в разработку таких представлений.

Многие из идей, которыми пользуются партии-ФПГ, уже давно стояли на вооружении идеологических партий. Заимствуя их, партии-ФПГ, обладающие несравнимо большим, чем идеологические партии, финансовым ресурсом, как уже говорилось, вытеснили их на обочину политики. В этой связи единственный способ для идеологических партий продлить свое существование — «продать» свой аппарат ФПГ (или сдавать его в «аренду»).

Поскольку содержать аппарат крупной политической партии для одной компании — пусть и крупной — слишком дорого, их содержат в складчину несколько крупных кампаний — ФПГ. Из-за этого внутри таких партий часто возникают конфликты — ведь цели различных кампаний, «учредивших» их, могут существенно разница.

Политическое прикрытие целей ФПГ с каждым годом становятся всё слабее и слабее, поскольку «изнашиваются» идеологические одёжки, в которые они рядятся. Уже сейчас программа любой такой партии — это не что иное, как совершенно эклектическая смесь самых разных идеологических клише. Эти программы уже давно никто не читает, что вполне объяснимо и разумно, поскольку никакой реальности они уже не соответствуют. Их вполне уже может составлять компьютер.

В связи со всеми этими обстоятельствами, думаю, настало время переходить к гораздо более откровенному изложению в программах партий бизнес-целей ФПГ. Для этого необходимо выработать соответствующий язык, язык, который бы с одной стороны был лишён заложенных традиционных штампов, а с другой — не был слишком отягощён специальной экономической лексикой. Также следует начать трансформировать сознание населения таким образом, чтобы оно нормально воспринимало почти не прикрытые идеологической риторикой бизнес-планы ФПГ, закреплённые в программах партий. Таким образом, лоббирование, возникшее на заре появления политических партий, в скором будущем скорее всего станет неприкрытым смыслом их существования, а конкуренцию идеологий заменит конкуренция бизнес-планов.

В этой связи следует заметить, что в качестве так называемой *национальной идеи* сможет выступить та бизнес-идея, которая будет стержневой для бизнес-плана той или иной партии-ФПГ. То есть общество сможет принять в качестве национальной идеи ту, которая будет нести наибольшую экономическую выгоду для наибольшего количества граждан.

Понятно, что в этой ситуации разговоры об отделении бизнеса от политики становятся совершенно бессмысленными. Речь поэтому должна вестись не об отделении первого от второй, а о *концептуальном оформлении их союза* (именно в таком ключе следует рассматривать данный текст).

Политические же решения должны стать просто переформулированием на языке политики бизнес-решений.

Что препятствует упомянутому оформлению союза, или, точнее, официальному его оглашению? Помимо прочего, не последнюю роль, по моему мнению, играет боязнь того, что «народ не поймёт». Однако, этого опасаться не стоит, хотя бы потому, что, как кажется, народ уже давно всё правильно понял и *морально готов* к признанию факта такого союза (чтобы не сказать, *тождества*) бизнеса и власти.

Важнейшую роль в окончательной трансформации политической системы сыграют — уже играют — транснациональные корпорации (ТНК). Прежние идеологические партии были национальными, теперь, скорее всего, благодаря глобализации, будут происходить процессы интернализации партий-ФПГ. Что же касается будущей политической борьбы между партиями-ФПГ, то её лучше всего можно будет описать в терминах Realpolitic. Межгосударственные же договоры уже сейчас становятся всё больше похожи на практически незамаскированные абстрактно-государственной риторикой сделки между крупнейшими ФПГ, а точнее их политическими представительствами.

О существенных изменениях в характере партий свидетельствуют изменения в способах их комплектации. А именно, сегодня партии просто *нанимают* некоторое необходимое количество «членов» для выполнения той или иной работы, реализации тех или иных проектов. По сути, речь идёт о полном перенесении способов действия, характерных для бизнес-структур (фирм, предприятий и т. п.) в политические организации. Естественно, что ни о какой внутрипартийной демократии в этом случае речь идти не может. Точно так же, как и об идеологических разногласиях внутри партий, внутрипартийной дискуссии, полемике на страницах партийной прессы и т. п. Всё это становится вполне понятным, если вспомнить, что партии-ФПГ изначально создаются под реализацию бизнес-проектов, что у всех них есть свои учредители в лице национальных (или наднациональных) олигархов и проч. Какая уж тут демократия…

В отличие от некоторых авторов, я не считаю, что такое положение вещей является симптомом «реванша капитала». Во всяком случае, я не думаю, что стоит придавать такому словосочетанию какой-то особенно зловещий смысл. Вряд ли ситуация в мире станет сходной с той, которая была в 19 веке — даже если некоторые события и процессы, происходящие сейчас, в чём-то напоминают события и процессы того времени. Умозаключение по аналогии в истории — слишком рискованное предприятие. Как справедливо заметил Ф. Фукуяма, для того, чтобы общество в своём развитии вернулось на одну из пройденных им фаз (достаточно, естественно, отдалённых), необходимо, чтобы произошли уж слишком катастрофические события [Фукуяма 2004].

Вообще, как мне кажется, многие авторы, говоря о партиях-ФПГ, находятся под влиянием традиционного представления о партиях как партиях идеологических, скорее всего, даже не осознавая этого. Для них всех такие партии-ФПГ — суть нечто ненормальное, нечто, что должно быть преодолено. Такие партии воспринимаются как промежуточный этап на пути к созданию «настоящих» партий. Однако партии-ФПГ — это и есть *настоящие* партии. И чем скорее мы это поймём, тем лучше.

Стоит ли посыпать голову пеплом в связи со всем вышесказанным? Думаю, нет. Как я уже говорил, происходящие процессы вполне естественны и не приведут к каким-либо катастрофическим последствиям, как некоторые пророчат (например, антиглобалисты). Просто мир опять станет другим.

Главные опасности, которые, как может кто-нибудь заметить, несёт в себе описанная тенденция, состоят в свёртывании социальных программ, подчинении всего строя жизни общества бизнес-интересам отдельных ФПГ, разрушении или, по крайней мере, нивелировании государства, сведении его роли к обслуживанию нужд ФПГ и т. п. Однако против всех этих возражений можно привести множество аргументов. Во-первых, весь строй жизни большинства более-менее развитых современных обществ уже давно подчинён преследованию бизнес-целей, как индивидуальных, так и корпоративных. Либерализм и идея свободного рынка сделали свое дело: теперь даже социалисты свято верят в либеральные ценности, необходимость рынка и *завидуют богатым*.

Во-вторых, как уже говорилось, политика как таковая также уже давно де-факто подчинена бизнес-целям ФПГ и ТНК, просто цели эти пока что маскируют старыми политическими и социологическими теориями, в том числе и с использованием социалистической риторики. Наличие таких целей, точнее, их превалирование служит поводом для постоянных обвинений ФПГ в предательстве национальных интересов вообще и лживости нанятых ими политиков. Однако, на мой взгляд, который, возможно, вызовет в ком-то моральное негодование, такие политики являются просто жертвами несоответствия между *формой* политической жизни и её *содержанием*. Устаревшие политические теории, впитанные, так сказать, с молоком матери, в том числе и политиками — в первую очередь политиками, — заставляют этих

последних чувствовать себя злодеями, врать, изворачиваться и т. п. Понятно, что такое положение вещей не способствует ни повышению доверия к ним, ни поддержанию их собственного душевного равновесия и здоровья. Однако нужно чётко понимать, *что политики часто лгут, просто потому, что у них нет подходящих слов, чтобы сказать правду*. У них нет концепций, к которым можно было бы апеллировать, концепций, на основании которых можно было бы выстроить более адекватный сегодняшним реалиям дискурс (что, естественно, не обязательно делает их менее аморальными — об этом ниже). Трансформация общественного сознания, восстановление соответствия между этим сознанием и фактами (по-другому — гармонии между формой и содержанием), позволит снять эту проблему, по крайней мере, *столько* врать уже не будет необходимости, и проблема эта из разряда социально-политических перейдёт в разряд проблем личного нравственного выбора. Возможно, это позволит существенно оздоровить моральную атмосферу в обществе.

Сейчас должна начаться постепенная работа по выработке новых правил политической игры, политической борьбы, правил не сводящихся к тем, что были выработаны во времена активного существования идеологических партий, противостояния социализма и либерализма (хотя конечно, эти новые правила могут содержать в себе в снятом виде моменты, элементы старых).

В-третьих, что касается свёртывания социальных программ. Думаю, что те функции, которые выполняли социалистические и прочие идеологически партии постепенно возьмут (часто уже берут) на себя различные общественные организации. Некоторые из них будут просто созданы по типу таких партий, другие станут дальнейшим развитием организаций, созданных этими партиями, наконец, третьи будут просто правопреемниками почивших партий. Как и современные идеологические партии, эти общественные организации не будут иметь достаточно ресурсов, чтобы бороться за власть, однако их сила будет вполне достаточной для того, чтобы эффективно защищать права простых граждан от злоупотреблений ФПГ, смягчать те или иные слишком жёсткие их решения[29].

Интересным представляется вопрос о том, сколько партий-ФПГ может одновременно функционировать в одном государстве, конкурируя или сотрудничая. Каковы вообще тенденции в этом плане?

И последнее. Сегодня многие авторы пишут о том, что мы стоим на пороге совершенно нового мира, что тот мир, который мы знали, безвозвратно уходит в прошлое. Делаются попытки представить, каким будет мир в среднесрочной и отдалённой перспективе. Хотя при этом наиболее глубокие авторы всё-таки склоняются к признанию принципиальной невозможности осуществить сколько-нибудь достоверный прогноз[30]. Однако при всем при этом упускается проблема *переходного периода* между старым (современным) миром и миром будущего. В какой форме будет происходить этот переход, какова будет политическая и экономическая структура мира в это время? Сколько времени он займёт? Вопросы отнюдь не праздные, поскольку, как правило, мир не меняется за одну ночь. Вполне возможно, что переход, который мы сегодня можем наблюдать, займёт не менее, а то и более одного поколения.

Та партийная структура, та политическая система, которую я попытался набросать выше — это на самом деле всего лишь *система переходного периода*, на смену ей обязательно придёт другая. Однако, повторюсь, то, что я называю рассмотренную выше политическую систему переходной, вовсе не означает, что время жизни её не может быть достаточно продолжительным. Именно поэтому она заслуживает пристального изучения.

То, что переход к новому мировому устройству (политическому, экономическому) имеет свою специфическую форму (а не является просто разрушением старого мира) не может не

[29] Интересно отметить, что сходные идеи можно найти в Rosanvallon 2008.

[30] См., например: Валлерстайн 2004.

радовать, поскольку такой структурированный переход, переход, неким образом оформленный, позволяет избежать многих потерь и хаоса.

Если рассматривать историю человечества через концепцию *десакрализации власти* [Павлова 2008], то сейчас мы можем наблюдать если и не завершающий этап этого процесса, то, по крайней мере, один из важнейших его моментов.

Итак, подведём итоги.

1. Национальные идеологические партии постепенно сходят с политической сцены.

2. Их место занимают партии-ФПГ, являющиеся политическим продолжением финансово-промышленных групп, в том числе и транснациональных корпораций. Такие партии могут иметь и наднациональный характер.

3. Эти процессы позволяют говорить о полном слиянии бизнеса и власти.

4. Цели партий-ФПГ являются чисто экономическими. Поскольку старые идеологии уже не могут выполнять своих функций или хотя бы служить эффективной ширмой для истинных целей партий-ФПГ, необходимо начать вырабатывать новый политический язык, формировать терминологический аппарат, который позволял бы выражать цели партий-ФПГ. Этот процесс должен идти параллельно с процессом такой трансформации общественного сознания, чтобы оно могло адекватно воспринимать сформулированные в новых терминах программы партий-ФПГ.

5. Такая политическая структура общества не является окончательной, а служит лишь для оформления перехода к принципиально новому общественному устройству, представить которое сегодня достаточно проблематично.

Приложение 4. Украинский национализм и синдром бедного дискурса

Если предыдущее приложение иллюстрировало то, каким мог бы быть дискурс, то это приложение показывает, каким дискурс быть не должен. Точнее, речь пойдёт о *синдроме бедного дискурса*.

Некоторые идеи, которые я буду излагать, были представлены, в частности, в нескольких моих ранее опубликованных статьях [Швирков 2010; 2012a; 2012b].

Хотя эти статьи также были написаны до событий конца 2013 – начала 2014 года, как мне кажется, и Майдан, и война на юго-востоке Украины наглядно демонстрируют полную состоятельность их выводов.

После распада СССР во всех странах, образовавшихся на его территории, началось выстраивание государственных идеологий. Почти все они базировались на западном либерально-демократическом образце, однако важным был и националистический компонент (где-то в большей мере, где-то в меньшей).

Выбор именно такого «набора» можно понять. С одной стороны либерально-демократическая риторика была риторикой «победившей стороны» и принять (или *перенять*) её было в каком-то смысле логично, с другой — национализм больше соответствовал характеру распада СССР (по границам бывших республик)[31]. Естественно, массовая доля каждого компонента для каждой страны существенно отличалась. Например, если, как в случае с Украиной, существовала развитая теоретическая традиция национализма[32]. Хотя не следует сбрасывать со счетов и элемент *случайности*.

Действительно, 1991 год, ставший определяющим для тех событий, которые потом произошли, может рассматриваться как своеобразная *точка бифуркации*, то есть точка, при

[31] Последний факт, однако, ни в коей мере не означает, что между распадом СССР и украинским национализмом существовала причинно-следственная связь (любого направления).

[32] См.: Касьянов 1997; 1999; Курас 1999; Націоналізм… 2000; Український націоналізм… 2010.

прохождении которой реализация того или иного возможного сценария развития событий в значительной степени определяется случайными обстоятельствами. Именно так произошло на Украине с национализмом: просто определённое количество людей определённого склада оказалось в нужном месте в нужное время.

Неожиданная победа свалилась на националистов буквально «с потолка» — так же, как «с потолка», если верить З. Бжезинскому, на США свалилась победа в «холодной войне» [Бжезинский 1998]. Но, в конце концов, неожиданная победа — не такое уж и редкое явление в истории. Главное, кто как сумел воспользоваться этой неожиданной победой. На Украине ею воспользовались националисты[33].

Следует отметить, что когда я говорю о том, что националисты воспользовались неким удачным моментом, то мои слова следует понимать в очень специальном смысле. Речь не идёт о том, что они захватили рычаги управления государством или «урвали» значительную долю ранее «общенародной» собственности — как раз здесь им, похоже, не особенно повезло. Речь о том, что они сумели (или, может быть, *успели*?) задать *тренд* в украинском политическом дискурсе[34].

Действительно, с момента получения Украиной независимости все политические дискуссии, все наиболее жаркие политические споры и перепалки так или иначе вращаются вокруг тем, которые «поставил» украинский национализм. При этом определённые концепции, идеи и понятия, которые в той или иной степени не соответствуют тренду, автоматически относятся к маргинальным. О них становится как бы неловко говорить. Соответственно, «маргинализируются» носители таких концепций и идей. Причём дело здесь вовсе не в том, что эти носители действительно маргиналы в экономическом или социальном смысле, а как раз в том, что они являются носителями концепций, которые не соответствуют тренду[35].

Любой тезис, выдвигавшийся после того, как тренд сформировался, начинал восприниматься или как тезис в поддержку тренда, или как его антитезис. Именно «анти», а не «просто» тезис — в этом «действие» тренда — в том, что всё начинает восприниматься через него и по отношению к нему.

По сути, тренд является той осью, вокруг которой всё вращается — или центробежно, или центростремительно. И тот, кто не придерживается тренда, автоматически оказывается на, так сказать, *ментальной* (раз уж мы говорим о тренде в дискурсе) периферии.

Важное свойство тренда заключается в том, что те, кто ему не отвечают, те, кто говорят на другом концептуальной языке, *пользуются другими словами*, сами в конце концов начинают чувствовать эту свою периферийность, маргинальность.

Выше мы уже выяснили, что дискурс может существовать в достаточной степени независимо от фактов. То есть попросту говоря, вполне возможно, что дискурс, воспроизводимый

[33] Конечно, после того, как точка бифуркации была пройдена, такое развитие событий стали объяснять вековым стремлением украинского народа к самоопределению, независимости и др. На самом же деле всё это было, повторюсь, ни чем иным, как случайностью.

[34] Или, в терминах Дж. Покока, *парадигму*.

[35] К. Скиннер, рассматривая историю Г. Болингброка, точнее, того, как его политическая сила стала использовать риторику оппонентов с целью показать себя, образно выражаясь, «бóльшими католиками, чем папа римский», почти ничего не говорит о причинах, почему именно эта риторика стала такой, воспроизведение которой являлось необходимым условием для того, чтобы тот или иной политик — находящийся у власти или оппозиционны — не скатился в маргинальность [Skinner 1974]. Другими словами, К. Скиннер рассматривает определённый вид дискурса, главенствовавший во времена Г. Болингброка, или, в моей терминологии, задававший тренд, как *данность*. В отличие от него, в этом приложении я указываю хотя бы некоторые условия, способствовавшие утверждению именно националистического дискурса. Хотя, безусловно, перечень указанных условий ни в коей мере не может считаться исчерпывающим. Однако именно эти недостающие факторы (отчасти скрывающиеся за термином «случайность») и являются *реальностью*. По сути, здесь мы воочию можем наблюдать тот разрыв в дискурсе, о котором я уже не раз упоминал и понятие которого восходит к М. Фуко.

политиком в течение достаточно долгого времени, может никак не коррелировать с тем, что он делает, а также с тем, что происходит в экономике, социальной сфере и проч. (хотя, повторюсь, оценивают и политика, и процессы в указанных сферах, как правило, прежде всего *по словам*; о причинах — также см. выше).

Именно это, как мне кажется, мы и имеем в случае Украины: совокупность фактов, характеризующих состояние экономики, социальной и политической сфер лучше всего укладывается в один набор теорий, а дискурс строится на совершенно ином наборе.

Я уже указал, каковы возможные причины того, почему украинский национализм оказался «в тренде» (распад СССР по границам бывших республик, существование развитой теоретической традиции украинского национализма, просто случай). Оставив в стороне вопрос о том, почему он «держится» так долго до следующего приложения, скажу несколько слов о том, почему украинский националистический дискурс являет собой пример *бедного дискурса*.

Как известно, формирование крупных самодостаточных национальных государств происходило в основном в 18–19 веках. Этот процесс коррелировал — по крайней мере, в Европе — с бурным развитием капитализма и индустриализацией. Можно сказать, что эти страны проходили тогда очередную точку бифуркации, прохождение которой как раз и могло (но не всегда) завершиться созданием национального государства. Те, кто тогда не успел, в другое время мог и не получить второго шанса.

Пожалуй, не следует путать появление национализма и рождение национального государства. Если верить Б. Андерсену, первое не обязательно влечёт за собой второе (хотя второе зачастую приводит к первому) [Андерсон 2001]. Украинский национализм родился в 19 веке, однако это не привело к созданию независимого национального государства.

Таким образом, Украина более чем на сто лет опоздала на поезд национально-государственного строительства. Более того, сегодня мы можем наблюдать и констатировать упадок классического капитализма. То есть того капитализма, который так бурно развивался параллельно со становлением национальных государств. Сегодня, как известно, на повестке дня стоит стирание государственных границ, ослабление национальных правительств и т. д. (думаю, последние события, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины, по форме вроде бы противоречащие этому выводу, по своему содержанию лишь служат лишним его доказательством)[36]. Строить практически с нуля классическое национальное государство (с «титульной» нацией, жёстким насаждением единого государственного языка и т. д.) сегодня — это примерно то же самое, что делать ставку в развитии экономики на крупные индустриальные предприятия типа металлургических, в то время как весь мир уже вступает в *шестой технологический уклад* [Авербух 2010; Василенко 2013; Глазьев 1992; Гуриева 2004].

Как пишет А.М. Салмин, «можно ли ожидать, что строителям национальных государств сегодняшнего дня, в частности, возникших на развалинах коммунистического сообщества, удастся повторить результат своих далёких… предшественников? Сегодня, а может быть и завтра на этот вопрос не сможет ответить никто. В большинстве таких государств не существует той высокой энергетической напряжённости, которая была характерна для классических государств-наций…» [Салмин 2009: 306]. В то же время «система, удовлетворительно

[36] «…Государство, формально взявшее на вооружение идею государства-нации, находится, что называется, не в своей тарелке. Либо эта идея, либо, что бывает чаще, оно само активно отвергается существенной частью населения. Это ведёт либо к краху государства, либо к установлению режима (чаще всего этнократического), открыто несовместимого с идеологией политической нации, или, после серии потрясений, к одной из двух описанных ситуаций, причём скорее ко второй, чем к первой» [Салмин 2009: 304]. «Торжество в ближайшем будущем идеи национального государства как идеи непосредственно политической повсеместно приведёт, скорее всего, не столько к объединению территории на „гражданских“ основах, сколько к усилению этноконфессионального противостояния и даже к распаду государств» [Там же: 307].

увязывающая различные формы территориального и функционального управления, может стать в случае успеха… новой парадигмой политической организации, альтернативной парадигме национального государства или дополняющей её. Необходимо учитывать, что в указанном случае, независимо от чьего-либо желания, она может стать таким же культурным императивом для современных государств, каким многие десятилетия были „национальное государство“ и „государство-нация“» [Там же: 309].

Естественно, приведённые аргументы нельзя рассматривать как полноценное обоснование относительной слабости националистических теорий (и, соответственно, бедности националистического дискурса). Для такого обоснования здесь просто нет места. Я лишь наметил некоторые возможные ключевые его точки.

Таким образом, можно предположить, что поскольку националистические теории лишь в крайне незначительной степени «покрывают» имеющийся набор фактов украинской политической, экономической и социальной жизни, и поскольку при этом существует большое количество более развитых теорий, мы в данном случае имеем дело с классическим примером синдрома бедного дискурса.

При наличии более развитых, более «адекватных», чем националистические, теорий, украинские политики всё равно продолжают пользоваться при построении своего дискурса откровенно националистической риторикой, причём в её самом примитивном варианте, а многие публичные события украинской политической жизни выстраиваются вокруг националистически окрашенных *объектов*[37].

Однако даже несмотря на всю ограниченность и я бы даже сказал, *тупиковость* национализма, его всё же можно было бы использовать — прежде всего для государственного строительства — раз уж так получилось, что ничего более подходящего под рукой не оказалось.

В первой из упомянутых в начале этого приложения статей [Швирков 2010] я предложил один из возможных вариантов такого использования. Поскольку в то время при власти находилась Партия Регионов, то, что говорилось в этой статье, было в первую очередь рассчитано именно на эту партию (отсюда и явно просматривающееся негативное отношение к некоторым символам, дорогим националистам). Замечу также, что статья вышла через несколько месяцев после того, как президентом Украины стал В. Янукович, и можно было предполагать, памятуя о том имидже, который имела Партия Регионов, что скоро начнётся свёртывание программ и мер по продвижению националистических идей (что, кстати говоря, вскоре и произошло). По моему тогдашнему мнению (которое, впрочем, и сегодня остаётся тем же), делать этого не стоило. Хотя бы потому, что заменить национализм в качестве основы государственной внутренней политики Партии Регионов особо было нечем.

Привожу фрагмент из упомянутой статьи дословно, так сказать, в качестве *документа ушедшей эпохи*.

Итак, я считал, что «нужно принять, что тот вектор движения, которое был задан 18 лет назад, действительно определяет господствующий сегодня тренд, что коренным образом что-либо изменить уже невозможно, что попытки это сделать приведут только к ещё большим потерям, а возможно и к распаду государства. При этом необходимо постепенно, не афишируя и не делая громких заявлений и вообще резких движений, попробовать, насколько это возможно, сгладить наиболее одиозные перекосы в национальной политике. Много сделать не удаст-

[37] Следует отметить, что когда я говорю о теориях украинского национализма, я имею в виду его старые — часто почти столетней давности — теории, большая часть которых является *нормативными*. Можно предположить, что в силу разных обстоятельств с тех времён эти теории пересматривались лишь в очень незначительной степени, их коррекция в связи с изменившимися обстоятельствами практически не проводилась.

ся — нравится это или нет. Однако таким образом можно хотя бы достичь некоторой стабилизации общества и начала экономического роста.

Что можно посоветовать маргинальной (в вышеприведённом смысле) политической партии, которая борется за власть, — той, естественно, которая действительно имеет в своем распоряжении ресурсы и действительно хочет определять стратегию развития государства[38]? Прежде всего, её спикерам — говорить только на украинском языке. По крайней мере на телевидении. Вряд ли это приведёт к сколько-нибудь значительному падению популярности партии у русскоязычного населения, однако в западных областях такой нехитрый приём рейтинг партии может лишь поднять.

Не следует резко реагировать на попытки „канонизации“ героев УПА и тому подобного[39]. Следует, насколько это возможно, „спускать всё на тормозах“. То же касается призывов к федерализации. Унитарное устройство Украины не должно ставиться под сомнение.

Необходимо начать широкомасштабное сотрудничество с представителями националистически ориентированной интеллигенции, например, путём финансирования изданий произведений этой интеллигенции, поддержки тех или иных культурных проектов. Речь ни в коем случае не идёт о том, чтобы „задушить“ её таким образом в объятиях (или о применении известного принципа „не можешь победить — возглавь“). Речь идёт о действительном сотрудничестве. Даже нет, не о сотрудничестве, а полномасштабном включении этой группы к сферу влияния партии. И пусть надо мной смеются, а *музеи*, в том числе и этнографические, создавать нужно…

Приблизительно то же самое касается привлечения к партийной работе и продвижения по партийной лестнице „националистически окрашенных“ активистов (естественно, наиболее адекватных). В партии действительно должно появиться большое количество таких деятелей[40].

Не следует бояться последствий таких мероприятий (например, того, что власть в партии захватят крайние националисты). Все влиятельные современные партии — это партии крупного бизнеса, то есть партии, являющиеся продолжением финансово-промышленных групп (ФПГ)… Как такое продолжение они полностью контролируются экономическими методами. Практически любую группу внутри партии, которая „зарвалась“ (в любом смысле), всегда можно укротить, если, конечно, эта группа не имеет значительные собственные финансовые ресурсы.

Обласкать, приголубить, дать денег — значит поставить под контроль. Контролируя же определённое количество националистической интеллигенции и политиков, можно будет контролировать движение всего общества.

Начнёт ли в результате отмеченных мероприятий партия перерождаться? Безусловно. Однако этого не следует бояться, поскольку она начнёт перерождаться в *правильном направлении*. А именно, с помощью этих мероприятий партия сможет существенно уменьшить степень своей маргинализации, то есть в большей степени будет отвечать тренду. В то же время, поскольку процесс приближения к „оси“ тренда будет сознательно контролироваться, можно будет начать постепенную коррекцию его в сторону большей адекватности.

---

[38] На тот момент выборы в Верховную Раду ещё не состоялись и у Партии Регионов не было явного перевеса.

[39] См. об этом, например: Розумний 2011.

[40] Хочу заметить, что термины «националистически ориентированная интеллигенция» или «националистически окрашенные активисты» вовсе не предполагают, что те, к кому эти термины относятся, являются преданными адептами национализма (точно так же, как и циничными прохвостами, прикрывающимися националистической риторикой). Речь идёт лишь о том, что подобные субъекты просто более или менее последовательно продуцируют определённого рода дискурс и совершают некие символические акты, позволяющие отнести их к националистам (например, участвуют в чествовании С. Бандеры).

В чём это должно выражаться? Например, в более взвешенной и просто адекватной внешней и внутренней политике. Не распространяюсь на счёт того, в чём они должны состоять: просто возьмите любую программу любой ненационалистической партии. Существенно облегчит этот процесс то, что большая часть националистически настроенной интеллигенции и политиков будет уже под контролем…

Не уверен, что стоит создавать что-то вроде „идеологии белорусского государства“ [Основы идеологии… 2004; Яскевич 2003]. Скорее всего, без этого можно и нужно обойтись. Некоторая доля идеологической неопределённости никогда не повредит — необходимо оставлять возможность для маневра.

Особенно активно и системно включение националистически настроенных политиков и интеллигенции в сферу влияния партии должно начаться в случае победы лидера маргинальной партии на президентских выборах (и/или в случае получения большинства мандатов на выборах парламентских). Если же такая работа не интенсифицируется, то могу допустить, что успех партии или её лидера будет недолгим» [Швирков 2010: 32].

Как видно из приведённого фрагмента, речь в статье шла не просто о том, чтобы перенять националистическую риторику — то есть осуществить «маневр» в духе Г. Болинброка [Skinner 1974]. Речь шла о более масштабных мероприятиях.

Последующие за опубликованием этой статьи события с одной стороны показали, что практически ничего из того, что я в ней предлагал, осуществлено не было, а с другой — что большинство моих «пророчеств» подтвердились. Хотя, памятуя о том, что я говорил выше о пророчествах, вполне возможно, что никакой чести мне такое подтверждение не делает.

Несмотря на то, что «взять в оборот» (например, так, как я это только что предложил) украинский национализм Партия Регионов, будучи при власти, так и не удосужилась (или не смогла) — или как раз поэтому — любые политические дискуссии на Украине продолжали и продолжают так или иначе вращаться вокруг вопросов, ассоциирующихся с националистической проблематикой[41].

Однако почему же национализм за 23 года украинской независимости не претерпел тех трансформаций, которые он мог бы претерпеть? Более того, почему с каждым годом националистический дискурс становился всё более и более примитивным? Некоторые причины этого станут понятны из следующего приложения. Нижеследующие рассуждения также позволят с одной стороны включить мой анализ украинского национализма в более широкий контекст, а с другой — понять, что многие из этих рассуждений — это не более чем *метафоры*.

Приложение 5. Распад или становление?

Помимо прояснения причин устойчивости украинского национализма (по крайней мере, соответствующего дискурса), в этом приложении я попытаюсь проиллюстрировать основные идеи раздела «Теория-реальность» из первой части настоящей работы. В частности те, которые касались 1) степени покрытия теориями фактов; 2) возможности выстраивания противоречащих теорий, в равной степени «подтверждаемых» фактами; 3) совместное, бесконфликтное сосуществование таких теорий; 4) необходимость увеличения плотности покрытия фактов теориями. Как и предыдущие, это приложение в значительной степени основано на одной из моих ранее опубликованных статей [Швырков 2013].

Любой политологический анализ подразумевает некоторую *парадигму*, то есть набор общих установок по отношению к тем или иным политическим феноменам и процессам, так сказать, «призму», через которую исследователь смотрит на мир политики.

[41] См. об этом мою статью: Швирков 2012b.

О существовании той или иной парадигмы свидетельствует особый язык, терминология, с помощью которой описываются те или иные феномены [Pocock 2009]. Одна из наиболее влиятельных последние пару столетий парадигм может быть названа *парадигмой развития* (становления, модернизации и т. п.). Именно эта парадигма определяет общий «настрой», «дух» значительного числа теорий — как конкретно-научных, так и философских.

Если не рождение, то начало бурного развития этой парадигмы можно отнести к временам Просвещения. Многие жившие тогда философы верили, что человечество в целом движется в направлении всё большего совершенства (богатства, счастья, удовлетворённости, структурированности, разумности и т. д., и т. п.), а каждое последующее состояние общества рассматривалось как более «продвинутое», чем предыдущее (естественно, незначительные, временные флуктуации не исключались). Эта вера передалась и философам более поздних времён. Идеи развития, эволюции и проч. получили дальнейшее развитие в конкретных науках, в том числе и в возникшей в 19 веке социологии.

Парадигма, альтернативная парадигме развития, может быть названа *парадигмой распада* (деградации, упадка и т. п.). Возможно являясь более старой, она, тем не менее, сегодня разработана куда слабее, чем первая[42]. Степень разработанности парадигмы, очевидно, можно определить по количеству теорий, созданных в её рамках.

Вероятно, любая парадигма сначала возникает (или, лучше сказать, *проявляет себя*) в философии, в философских теориях и лишь затем «перетекает» в теории конкретно-научные. Поэтому о степени развития парадигмы можно судить и по тому, в какой степени произошло такое перетекание. Несмотря на то, что в сфере философии парадигма распада, упадка представлена значительным количеством теорий[43], сказать то же самое о сфере конкретных наук нельзя.

Наоборот, парадигма развития хорошо представлена как философскими, так и конкретно-научными теориями. Сегодня она практически полностью определяет наш образ мысли и является для нас настолько естественной, что мыслить в иных терминах, в терминах других парадигм стало для нас практически невозможным.

Важно отметить, что, вообще говоря, связь между парадигмой и некоторым набором фактов не является линейной, однозначной и даже чётко прослеживаемой. Скорее всего, парадигма рождается существенно независимо от фактов или, по крайней мере, во многом «живёт» своей собственной жизнью. Другими словами, она не столько вытекает из некоторого набора фактов, сколько *присоединяется* к нему[44]. В связи с этим можно предположить, что факты сами по себе вряд ли являются единственным основанием для того, чтобы отказаться от одной парадигмы и принять другую. Что касается смены парадигм, то и она вряд ли происходит в соответствии с простыми, легко отслеживаемыми законами. Скорее всего, такая смена происходит в значительной степени *непрозрачно*.

Исходя из только что сказанного, кто-то мог бы заключить, будто я полагаю, что парадигма — коль скоро она «присоединяется» к фактам, «живёт своей собственной жизнью» и т. п. — вообще говоря, не имеет особого значения для конкретного анализа этих самых фактов, а служит скорее для формирования некоего *отношения* к ним.

---

[42] Как известно, в Средние века в Западной Европе длительное время главенствовала парадигма, которую можно назвать *эсхатологической*. В *индуизме* до сих пор считается, что каждая последующая эпоха в истории человечества *хуже*, чем предыдущая. См., например: Glass 2004; Upton 2005. О зарождении в XVII–XVIII вв. в Западной Европе парадигмы развития, идеи прогресса см., например: Ле Гофф 2008: 229–230, 299–301, а также Козеллек Р. 2005. А вот что писал И. Кант: «…Мир беспрестанно… идёт… от плохого к лучшему» [Кант 1965: 51]. Интересно отметить, что термин «стабильность» «вошёл в политический язык только в 19 веке и был заимствован из сферы технологии, в частности из инженерного дела» [Мюллер 2013: 237].

[43] Вспомнить, хотя бы, шпенглеровскую [Шпенглер 1993].

[44] К вопросу о происхождении теорий!

Отчасти это, конечно, верно, особенно если речь идёт о «функционировании» той или иной парадигмы в сфере философии (а также, как это ни странно, сфере политики). Однако, когда мы «спускаемся» на более низкие уровни абстракции, когда мы адаптируем ту или иную парадигму для менее абстрактной, чем философия, сферы, важность такой парадигмы, например, для прогноза или формулировки конкретных практических рекомендаций существенно возрастает[45].

Проиллюстрирую только что сказанное простым примером.

Если у человека поднимается температура, мы можем сказать, что он *болеет*, или что его организм *борется*, или что его организм *очищается*. Каждый из выделенных глаголов, очевидно, соответствует разной парадигме. В зависимости от избранной парадигмы оценка такого факта, как повышение температуры, будет меняться от однозначно негативной («болезнь») до однозначно позитивной («очищение») через сравнительно нейтральную («борьба»). Кроме этого, выбор парадигмы в данном примере, очевидно, определяет также то, как мы будем *действовать*: в зависимости от выбранной парадигмы мы либо будем сбивать температуру, либо не будем.

Следует отметить, что в вопросах, касающихся политических фактов, на смену (или *несменяемость*) парадигмы огромное влияние имеет *идеологический* фактор (или, точнее, фактор *политического интереса*). Прежде всего, это сказывается на дискурсе, генерируемом политиками, а также дискурсе политически ангажированных аналитиков. В силу влияния этого фактора связь парадигмы и фактов может вообще утрачиваться. Факты могут однозначно свидетельствовать о сокращении объёмов производства, росте преступности, инфляции и проч., однако в сфере политического дискурса всё равно будет главенствовать парадигма развития.

Кроме фактора политического интереса значительное влияние на характер политического дискурса имеет то, что развитой концепции распада не существует (этот последний факт уже упоминался выше)[46]. То есть у нас нет концепции, в которой бы модели деградации и упадка описывались так же детально, как и модели развития. А раз так, то и производить дискурс распада, столь же хорошо структурированный, как и дискурс развития, оказывается невозможно — ведь хорошо структурированный дискурс может быть сформирован только на основе развитой теории.

Таким образом, исходя из всего сказанного, можно предположить, что перекос в нашем мышлении в сторону преобладания парадигмы развития в значительной мере вызван факторами, далёкими от того, чтобы называться объективными. Поэтому ниже я постараюсь поспособствовать устранению этого перекоса — что, разумеется, будет корреспондироваться с моим призывом к созданию как можно большего количества качественных теорий. Для этого, а также для того, чтобы проиллюстрировать то, что парадигма распада может быть не менее эффективным в эвристическом плане инструментом, чем парадигма развития, я проанализи-

[45] Хотя такое «действие» парадигмы также не всегда однозначно и легко прослеживаемо. Например, осуществление прогноза, сделанного в рамках некоторой парадигмы, само по себе не является основанием для уверенности, что эта парадигма более «правильная», чем другая.

[46] Хочу ещё раз подчеркнуть, что речь идёт не о чисто философских концепциях (той же шпенглеровской), а о *научных*. Например, у нас есть множество теорий возникновения и развития политических институтов (значительная часть теорий демократии, как кажется, посвящена именно этому вопросу), но у нас нет развитых теорий того, как институты деградируют и распадаются. Подвергшись разрушительной критике в философии (например, в постмодернизме), парадигма развития продолжает практически полностью определять словари всех социальных наук.

Вообще, парадигма — это феномен, имеющий над-, сверхнаучную природу и поэтому в науке та или иная парадигма может быть *конкретизирована* в разной степени. Когда я говорю, что парадигма распада развита гораздо меньше, чем парадигма развития, я имею в виду именно степень её, парадигмы распада, конкретизации.

рую с точки зрения этой парадигмы некоторые процессы, происходящие в странах бывшего СССР, в частности, на Украине — коль скоро украинская специфика знакома мне лучше всего.

Кратко ситуацию с этими странами, как она выглядит на страницах учёных журналов, можно описать так.

В 1991 г. Советский Союз разваливается и в странах-бывших советских республиках начинается интенсивное государственное строительство. Где-то оно идёт более успешно, где-то менее. Некоторые страны — в том числе и Украина — вообще характеризуются как «failed state»[47].

Так, как характеризуются изменения в этих государствах в целом, характеризуются и изменения в различных их подсистемах (в экономике, политике, социальной сфере). Соответствующий дискурс включает фразы типа «развитие рыночных отношений», «эволюция партийной системы», «партийное (государственное, институциональное) строительство» и т. д., и т. п.[48]

Тем не менее, наличие огромного числа фактов, свидетельствующих о катастрофическом состоянии большинства отраслей экономики, социальной сферы и проч. является серьёзным основанием для того, чтобы усомниться в правомерности использования риторики развития, то есть усомниться в адекватности соответствующей парадигмы[49]. Что правда, основание, как было сказано выше, *недостаточное*. Поэтому, единственное, *формальное* основание альтернативного взгляда — это сама его возможность. Насколько парадигма распада адекватна, насколько она *адекватнее* парадигмы развития, может показать только будущее (что, впрочем, не будет — в соответствии с тем, что также уже было сказано — однозначно свидетельствовать в пользу парадигмы распада).

Итак, в дальнейшем мы будем исходить из того, что большинство процессов, происходящих в странах, образовавшихся на территории бывшего СССР, должны рассматриваться как процессы деградационные, как процессы распада, разрушения (а не развития, становлении и т. п.). Другими словами, мы будем предполагать, что *распад СССР ещё не завершился* (и, возможно, далёк от завершения)[50].

Помимо прочего, я буду пользоваться идеями, которые касались *приоритетной сферы* (см. выше). В качестве приоритетной я выберу экономическую сферу — отчасти по уже указанным причинам (например, удобству измерения экономических показателей), отчасти по

[47] См. об этом, например: Мельвиль 2007; Kamilova 2011.

[48] Вот лишь несколько цитат из практически наугад взятой статьи: «…Имеется достаточно критериев, по которым начальную стадию политического развития этих стран (стран бывшего Советского Союза — А.Ш.) на рубеже 1990-х годов можно считать общей» [Макаренко 2008: 105]. Или: «…Всесторонний анализ успехов посткоммунистических стран в государственном строительстве, модернизации обществ и демократизации — задача настолько масштабная, что её едва ли можно решить в одной статье» [Там же: 106]. Или сами за себя говорящие названия статей: «Основные тенденции политического развития в России и на Украине в период 2004–2006 гг.» [Лапкин 2007], «Государственное строительство: сравнительное исследование Украины, Литвы, Беларуси и России» [Fritz 2007], «Государственное строительство на Украине: украинский парламент, 1990–2003») [Whitmore 2005].

[49] Стремление втиснуть имеющиеся факты в парадигму развития может приводить к забавным курьёзам. Вот просто-таки вопиющий пассаж из статьи довольно известного автора: «Политическое развитие (выделено мной — А.Ш.) России в 2000-е годы характеризовалось упадком и разложением (выделено мной — А.Ш.) важнейших политических институтов, которые задают правила игры для осуществления власти и управления в стране» [Гельман 2010: 23–38].

Справедливости ради не могу не упомянуть о существовании более осторожного (в плане используемой лексики) подхода к характеристике процессов, происходящих на постсоветском пространстве. См., например: Мельвиль 2007; Мельвиль и др. 2011.

[50] Считаю необходимым подчеркнуть, что данный вопрос выходит далеко за рамки проблематики «советского наследия», как она трактуется, например, в Гельман 2010; Kitschelt 1986; 1999; Mahoney 1999.

традиции. Хотя, повторяю, в качестве приоритетной может быть выбрана практически любая сфера.

Начну с *партийной системы*.

Итак, после 1991 г. на Украине образовалось множество партий самого разного толка. Этот факт можно расценивать — и именно так это и делается в рамках парадигмы развития — как свидетельство большей свободы, демократизации и т. п. Однако его можно интерпретировать и по-иному, а именно как результат распада «украинского филиала» КПСС.

Действительно, костяк, верхушку большинства сколько-нибудь серьёзных украинских партий до последнего времени составляли выходцы из партийных и комсомольских организаций СССР разного уровня [Мороко 2013]. Что касается идеологического разнообразия (чаще всего мнимого) этих партий, то оно может быть легко объяснено случайными обстоятельствами. Например, тем, с какой именно сферой в прошлом были связаны их «учредители» — тяжёлой промышленностью, ВПК, сельским хозяйством, образованием и т. п.

Благодаря такому своему происхождению многие из этих партий не имели и не имеют той поддержки, на которую вроде бы позволяют рассчитывать их «идеологии». Этим же обусловлена та лёгкость, с которой их лидеры изменяют своим партийным программам.

Теперь о *несостоявшейся двухпартийности*.

Как известно, одно время среди украинских политологов и политиков было распространено мнение, что довольно скоро украинская партийная система может стать двухпартийной. Кандидатами на составляющие этой системы прочили Партию Регионов (ПР) и Блок Юлии Тимошенко (БЮТ)[51]. Также известно, что двухпартийности не получилось. Даются разные объяснения того, почему. Чаще всего они базируются на современной западной теории партий. Однако, на мой взгляд, наиболее простое объяснение может быть дано именно в контексте парадигмы распада.

Начиная с момента «официальной смерти» СССР экономическое положение Украины в общем и целом ухудшается. Некоторая стабилизация, или, точнее, *уменьшение крутизны падения* после обвала в начале 90-х просто несколько завуалировало это падение, сделало его не столь очевидным.

Поскольку Украина становилась всё более и более бедным государством, её экономический уклад — всё более и более примитивным, постольку она уже просто не могла себе позволить *более чем одну* полноценную партию. Так как единственный сектор украинской экономики, который до последнего времени ещё хоть как-то функционировал — это, условно говоря, сырьевой, естественно, что в качестве такой партии могла выступать только Партия Регионов[52].

Поэтому до последнего времени правильней всего было классифицировать украинскую партийную систему как систему *с единственной оставшейся партией* — а не *доминантной*, как считали некоторые украинские политологи[53]. Однако в связи с событиями конца 2013 — начала 2014 гг., приведшими к утрате Партией Регионов своих позиций, подозреваю, что говорить о партийной системе Украины как о *системе* вообще не имеет смысла[54].

---

[51] См. об этом, например: Рагозин 2004.

[52] Важный аргумент в пользу сказанного — ни одна партия, покинув украинский парламент, так в него и не вернулась.

[53] Серьёзных работ на эту тему, как кажется, ещё не было, однако *намерения* начать исследования в этом направлении у некоторых знакомых мне украинских учёных имелись. О теории доминантной партии см.: Грин 2011. Вопрос о доминантной партии в случае России рассматривался, например, в Буратаева 2007; Трунтягин 2011; Reuter, Remington 2009.

[54] Как писал А.М. Салмин, «…множество партий и партийная система — разные вещи. Множество партий само по себе системы ещё не составляет» [Салмин 2009: 255].

В связи с только что сказанным стоит добавить, что с некоторых пор любые выборы на Украине — хоть парламентские, хоть местные, хоть президентские — это всегда соревнование между *непрерывно слабеющими* игроками, различающимися между собой лишь степенью своей слабости (вероятно, именно поэтому на Украине среди экспертов столь распространено мнение, что выборы здесь не *выигрывают*, а *проигрывают*).

Деградация, примитивизация политической сферы помимо прочего привела к тому, что значительное число людей, достаточно образованных для того, чтобы занимать государственные должности, оказались за бортом политической жизни. Следует отметить, что образование они получили частично ещё в СССР, частично — сразу после его кончины, то есть они изначально готовились для работы в системе куда более сложной, чем та, в которой им в действительности пришлось жить, и, добавлю, в которой им — в силу «излишней образованности» — места не нашлось. Как говорится, зачем пользоваться компьютером, когда можно обойтись счетами (или *молотком*)[55].

Все эти люди образовали *политическую резервную армию*, аналогичную рабочей резервной армии. Что правда, эта политическая армия, похоже, так и останется резервной (коль скоро деградация всех сфер украинской жизни продолжается). Попросту говоря, сегодня в украинской политике человеку с учёной степенью — если, конечно, она не куплена — просто *нечего делать*. Причём «нечего делать» — это не фигура речи, а совершенно точная формулировка, отражающее реальное состояние политикума: такой человек чаще всего просто не сможет найти там себе занятие, действительно соответствующее его интеллекту.

Парадигма распада позволяет по-новому взглянуть и на так называемую *эпоху первичного накопления капитала* — как часто характеризуют несколько первых лет после распада СССР[56].

С точки зрения этой парадигмы первичное накопление капитала происходило в СССР (правда, капитал тогда был не частный, а государственный). В 90-х же годах 20-го столетия этот капитал был просто «приватизирован». Однако, в отличие от стран, где действительно происходило накопление капитала *частного*, этот приватизированный капитал не инвестировался (и не инвестируется) в сколько-нибудь достаточном объёме в украинскую экономику, а выводится за рубеж. Причём снижение интенсивности этого процесса — даже если такое имеет место — происходит только потому, что уменьшается количество самого капитала (в силу деградации экономики).

Кто-то мог бы заметить, что сказанное является существенным упрощением, что наряду с процессами распада происходят и процессы становления. Всё так. Однако речь, очевидно, идёт о *массовой доле* таких процессов и их скорости. Любые процессы, происходящие на Украине — в том числе те, которые вроде бы могут быть охарактеризованы как процессы развития — как бы *вложены* в процесс распада. То есть процесс распада является *суперпроцессом* по отношению к любым другим процессам.

---

[55] «…Советский период вполне можно трактовать и как золотой век русской интеллигенции: только в это время она, наконец, добилась высочайшего признания как общественная сила. Причём признания именно со стороны власти, выражавшей его как материальными благами, так и репрессивными мерами… Это обстоятельство иногда отчётливо осознаётся, особенно по отношению к послесталинскому периоду, когда массовые репрессии уже закончились и советский строй всё ещё продолжал существовать… Если советский период что-то изменил в русской интеллигенции, так это именно то, что в качестве её референта утвердилась на сей раз государственная власть: интеллигент XIX – начала XX вв. определяет себя через отрицание власти… и референцию к „народу“, а советская и постсоветская интеллигенция — явно или скрыто — референтно соотносится преимущественно с государственной властью… Поэтому самое драматичное для неё начинается не тогда, когда последняя репрессирует интеллигенцию, а когда она её игнорирует» [Куренной 2006: 7].

[56] Думаю, главную роль в том, чтобы назвать эти годы именно таким образом, сыграли идеологические мотивы. Однако и парадигму развития также не стоит сбрасывать со счетов.

Хочу так же особо подчеркнуть следующий момент. В случае рассмотренных процессов важна не собственно бедность страны, не степень деградации её экономики и населения, а то, что бедность и деградация *прогрессируют* (ещё один пример того, насколько парадигма развития въелась в наш словарь: у нас даже *деградация* прогрессирует!).

Если обратиться к тому, что у нас называется межпартийной борьбой, следует заметить, что в этом контексте её результаты представляются куда менее важными, чем обычно принято считать. Политики же выступают в роли людей, соревнующихся за то, чтобы порулить падающим самолётом.

Несколько слов следует сказать об одной влиятельной сегодня теории, трактующей происходящие на Украине — да и в других бывших республиках Советского Союза — политические процессы. Я имею в виду теорию *неопатримониализма*.

Как известно, теория неопатримониализма является дальнейшим развитием теории патримониализма, впервые разработанной М. Вебером. М. Вебер считал, что в своей первоначальной форме патримониализм развивается из управления имуществом вождя, точнее, из выделения слуг-клиентов из домашнего хозяйства господина-патрона и предоставления им земельных владений, возможностей сбора податей и т. п. «В своем чистом виде патримониальное господство… рассматривает все управленческие полномочия с соответствующими экономическими правами в качестве частным образом апроприированных экономических возможностей» [Weber 1978: 236].

Другими словами, главной особенностью патримониализма является присвоение сферы управления официальными носителями политической власти, в результате чего государство управляется как частная собственность правящих групп, которые приватизируют общественные функции и государственные институты. Важно отметить, что *клиентарно-патронажные сети* могут существовать внутри самых разных экономических и политических систем.

Следующий шаг в развитии этой теории был сделан Ш. Эйзенштадтом, построившем комплексную теорию неопатримониализма.

Традиционный патримониализм, по его мнению, был присущ древним и средневековым обществам. Продуктом же модернизации современных (прежде всего — постколониальных) обществ являются принципиально новые, неопатримониальные, структуры, сочетающие в себе элементы традиционного и современного государства. Возникновение неопатримониализма обусловлено тем, что становление политических институтов современного государства во многих развивающихся (опять «становление», опять «развивающихся»!) странах Азии, Африки и Латинской Америки происходило в рамках синтеза традиционного и модерного. Важно отметить, что этот синтез отнюдь не является неким переходным состоянием, а обладает существенной устойчивостью и собственной логикой развития.

Важнейшим принципом функционирования неопатримониализма является *клиентизм* или патронажные *отношения* [Political Clientilism… 1981].

Как считает Ш. Эйзенштадт, возникновение неопатримониальных режимов связано с провалом политики модернизации [Eisenstadt 1973: 95].

Последнее время стали появляться попытки приложения теории неопатримониализма к анализу ситуации, сложившейся на постсоветском пространстве [Бирюков 2012; Фисун 2006].

В случае Украины, а также других бывших советских республик, данная теория связывает существование неопатримониальных черт её современного политического устройства с существовавшими в СССР клиентарно-патронажными сетями.

В общем и целом можно согласиться с той картиной, которую рисуют приверженцы теории неопатримониализма. Однако с одним важным замечанием или, точнее, дополнением в духе развиваемого в данном приложении подхода.

А именно, украинский неопатримониализм (как и неопатримониализм в большинстве других стран, образовавшихся на территории бывшего СССР) является не суперпозицией традиций и модернизации, как в странах Азии или Латинской Америки (или промежуточной ступенью на пути к более развитому состоянию как, например, было в США в конце 19-го века, во времена политических «боссов» и «машин»), а результатом деградации той достаточно сложной государственной системы, которая существовала в СССР.

Конечно, в СССР существовали клиентарно-патронажные сети — точно так же, как они существовали и существуют в любой другой стране — однако они существовали наряду с формальными рационально-легальными механизмами (возможно, куда более рациональными, чем существующие в современных развитых демократических странах). Вышли же клиентарно-патронажные отношения на передний план, стали превалировать в украинской политике не потому, что Украина «недостаточно модернизировалась», а потому, что эти более сложные, рационально-легальные механизмы были *разрушены*.

Р. Лемаршан и К. Легг писали о том, что изобилие и широкие экономические возможности серьёзно ослабляют воздействие экономического фактора, чтобы сделать персонализированные политические взаимоотношения, составляющие суть патримониализма, излишними для большинства людей индустриальных государств [Lemarchand, Legg 1972]. Однако мы сегодня, очевидно, можем наблюдать обратный процесс, когда действие неблагоприятной экономической обстановки усиливает старые и порождает новые неопатримониальные связи.

Интересно отметить, что хотя теоретики неопатримониализма не говорят прямо о «развитии» в отношении Украины (да и России) они явно или неявно подразумевают — опять же, вероятно, по аналогии со странами Азии или Латинской Америки — некоторую *стабилизацию* состояния политической системы, то есть рассматривают неопатримониализм (возможно, прикрытый ширмой из демократических институтов) как некий *особый вид политического режима*, режима, который может существовать достаточно долго [Фисун 2006]. Вероятно, здесь имеет место некая аналогия с *консолидацией демократии*, которой вроде бы должен был закончиться демократический транзит (но которой он не закончился — потому что, говорят сторонники теории неопатримониализма, он закончился консолидацией этого самого неопатримониализма).

По моему мнению, ошиблись не только сторонники теории демократического транзита (надеявшиеся на то, что бывшие советские республики станут «демократическими странами»), но и сторонники транзита неопатримониалистического: неопатримониализм (по крайней мере, в том виде, в котором он сложился на Украине) является лишь ещё *одной* фазой продолжающегося процесса деградации, распада всех сфер жизни страны, а не некой особой формой политического устройства.

В этой связи, возможно, неопатримониальный режим Л. Кучмы был куда более *консолидированным*, чем режим В. Януковича. Другими словами, не только выход на передний план этой формы организации политической жизни является результатом распада более сложных форм, но и сама эта форма постоянно находится в процесс разложения, то есть *неопатримониализм становится всё более и более примитивным*.

Из сказанного выше становится очевидным, что ни о какой демократизации украинской политической жизни ни в прошлом, ни тем более в настоящем говорить не приходится. Возможность консолидации демократии, даже если такая и была, с каждым годом становится всё меньше. Причём даже такие *флуктуации*, как «оранжевая революция» или «евромайдан» по факту лишь уменьшали и уменьшают шансы Украины стать демократическим государством[57]. По-другому: даже если какие-то движения в сторону большей демократичности

[57] Именно поэтому я и не вижу смысла анализировать здесь эти «переломные» моменты украинской истории.

украинским обществом и совершались, они не могли «перебить» процесс распада. Неспроста после почти 20 лет «демократизации» к власти на Украине пришла именно Партия Регионов, то есть партия, меньше всего ассоциировавшаяся с демократией, а после событий конца февраля 2014 года — радикалы и националисты.

Если верить теории демократии, эта самая демократия как совокупность признаваемых всеми влиятельными политическими акторами правил игры возникает из *пакта элит*, следующего за патовой ситуацией в их противостоянии [Elites… 1992; Linz, Stepan 1996; Przeworski 1991]. Однако такая патовая ситуация, очевидно, может возникнуть только тогда, когда существует как минимум *два* примерно равных по силам игрока [Даль 2010]. На Украине же таких игроков нет и в силу указанных выше причин не предвидится.

Теперь ещё несколько слов о собственно теории демократического транзита в том её варианте, который был разработан для стран постсоветского пространства — в качестве иллюстрации неадекватности для наших реалий парадигмы развития и странного упорства в её применении.

Как известно, после очевидных трудностей, возникших с применением к постсоветским реалиям первоначального варианта этой теории (разработанного, кстати говоря, опять же на материалах стран Латинской Америки) и предполагавшего, что демократический транзит состоит в создании демократических институтов и маркетизации, в эту теорию помимо прочего был введён ещё один компонент — развитие государственности. Связано это было с тем, что, как тогда считали, в постсоветских странах были слабо развиты государственные структуры [Kuzio 2001].

Если подойти к этому вопросу с точки зрения парадигмы распада, то станет совершенно очевидно, что речь должна идти не о недостаточном развитии этих структур, а о разложении, деформации и частичном исчезновении государственных структур СССР. Да, строительство каких-то новых государственных структур в течение 90-х годов прошлого столетия, безусловно, происходило (и продолжается сегодня). Однако оно происходило не на голом месте и не постепенно. Новые государственные структуры не прорастали естественным образом из социальной и экономической систем общества (или, точнее, не росли вместе с ними — хотя бы потому, что никакого «роста» не было). Наоборот, они в значительной мере явились результатом разрушения (или *не* разрушения) структур СССР, сохраняя многие их черты, комплектуясь их кадрами и т. д. Особенно показателен в этом смысле случай России, где бывший КГБ как, вероятно, наиболее жизнеспособный государственный орган СССР, послужил основой тех реальных государственных структур, которые мы можем видеть сегодня [Фельштинский, Прибыловский 2010].

Таким образом, то, что происходило с начала 90-х годов — суть результат наложения двух процессов: попытки создания демократических институтов (ещё, кстати, неизвестно, насколько серьёзной) и разрушения государственных структур СССР. Причём именно *второй* процесс был ведущим, основным[58].

Важно понимать, что во всем этом *намерения* тех или иных акторов не имели (и не имеют) особого значения. Тем более, их декларации. Можно на всех углах кричать, что мы строим демократию, даже искренне в это верить, однако в зачёт идёт только результат. А результат, как известно, далеко не всегда соответствует декларациям или намерениям.

Что правда, как о том уже неоднократно шла речь выше, о результате часто судят по декларациям — просто потому, что видят в том, что получилось, только то, что до этого было

[58] Хочу ещё раз подчеркнуть, что сказанное мной о «демократизации» украинской политической жизни ни в коей мере не может рассматриваться как разновидность концепции «советского наследия» (и его преодоления). Данная концепция — суть лишь ещё одна попытка «подправить», дополнить теорию демократического транзита. Она не способна прояснить суть глубинных процессов, происходящих на Украине.

озвучено. Думаю, именно в этом следует видеть основную причину того, что государства, существующие на просторах бывшего СССР, сегодня рассматриваются как «фасадные демократии», «failed states» и т. п., то есть как некий *неудавшийся проект*. Хотя, возможно, правильнее было бы воспринимать их как осколки огромной империи, осколки, в которых эта империя продолжает существовать (или *разрушаться*) и, возможно, просуществует ещё долго.

Демократическая риторика, риторика построения гражданского общества, государства (то есть *риторика развития*), из года в год воспроизводимая политиками, «экспертами», «аналитиками» и проч., не должна сбивать нас с толку при оценке реальных процессов, происходящих в политике, экономике, социальной сфере. Производители дискурса — повторю, речь идёт о *хорошо структурированном дискурсе*, который только и может «иметь хождение» в публичной, официальной и научной среде — не могут слишком отклоняться от некоторых существующих паттернов, задаваемых теориями демократии, демократического транзита и т. д. После того, как в силу определённых обстоятельств этот дискурс «получил прописку» в странах бывшего СССР (прежде всего потому, что были отброшены теории, на которых базировался дискурс советских времён — см. приложение 4 «Украинский национализм и синдром бедного дискурса»), от него стало практически невозможно отступиться. Все публичные деятели «зажаты» в тесные рамки существующих, «одобренных к использованию» словарей, отступление от которых означает автоматический переход в разряд маргиналов.

Вследствие этих обстоятельств декларируемые политиками цели далеко не всегда (а точнее, практически никогда) не соответствуют фактам — ситуация, аналогично описанной в приложении 3 («Партия-ФПГ или каким *мог бы быть* дискурс»). Образно говоря, дискурс может идти своим путём, а реальность — своим.

Немалую роль в том, что очевидные на самом деле процессы распада государства часто оказываются субъективно не фиксируемыми, играет *глобализация*.

Действительно, включенность Украины в глобальную экономику, относительная открытость её границ для миграции (в том числе трудовой), с одной стороны смягчают для некоторого количества её граждан последствия разрушения основных отраслей её экономики и деградации социальной сферы (например, благодаря деньгам трудовых мигрантов, возможности периодического выезда за рубеж или работы на транснациональные корпорации), а с другой — делают их не столь очевидными.

За годы независимости из Украины выехало (и продолжает выезжать) значительное число высококвалифицированных работников, да и просто активных людей. Также значительная часть украинских граждан, которые могли бы при определённых условиях поддержать или даже инициировать социальные изменения, либо в той или иной форме включены в глобальные экономические цепочки (например, работают на иностранные компании), либо задействованы в тех узких и немногочисленных секторах экономики, которые ещё не полностью деградировали и потому не слишком мотивированы для того, чтобы что-либо менять (те же, кто по каким-то причинам оказался вне таких цепочек или секторов, слишком разрознены и малочисленны, чтобы на что-то влиять)[59].

В результате та часть населения Украины, которая, казалось бы, должна быть наиболее заинтересована в социальных преобразованиях, оказалась слишком малообразованной, слишком пассивной, слишком *маргинализированной* для того, чтобы хотя бы просто осознавать катастрофичность происходящих процессов (не говоря уже о том, чтобы на них организованно и сознательно реагировать).

Почти во всех сферах и на всех уровнях этих сфер происходит замена более квалифицированных кадров менее квалифицированными (то есть происходит то, что можно образно на-

[59] Не стоит, конечно, забывать и о «естественной» убыли населения.

звать «государственным склерозом»[60]), однако именно благодаря тому, что такая замена происходит почти во всех сферах и на всех их уровнях, процессы распада, о которых здесь идёт речь, воспринимаются этими менее квалифицированными кадрами как *норма*. Однако от этого, естественно, эти процессы не замедляются. Скорее наоборот.

Можно было бы предположить, что вот-вот будет достигнута (или уже достигнута) нижняя точка падения, и Украина превратится в третьесортную, но относительно стабильную страну. Однако, как мне кажется, такая точка ещё не достигнута. Более того, в последнее время процессы распада, похоже, только ускорились.

В связи с последним замечанием следует отметить, что деградация, распад происходят неравномерно: как правило, относительно «плавные» участки заканчиваются резким обрушением, когда ситуация ухудшается буквально на глазах. Поэтому периоды стабилизации, которые действительно иногда имеют место, не должны нас особо обнадёживать.

Не берусь судить, насколько выводы, сформулированные для Украины, справедливы для других стран бывшего СССР. Думаю, вариации могут быть значительны. Это обусловлено и культурными, и историческими особенностями этих стран, тем, в зоне чьего геополитического влияния они оказались. Один из важнейших факторов, влияющих на *плавность* протекания политических и проч. процессов в этих странах — наличие (или отсутствие) природных ресурсов. Тем не менее, решусь предположить, что различия эти носят в основном количественный, а не качественный характер.

Не последнюю роль в рассмотренных процессах — и Украина в этом смысле является, пожалуй, одним из самых показательных примеров — играет внешний фактор. Думаю, если бы не интенсивная финансовая, организационная и информационная помощь со стороны Запада, украинская оппозиция никогда бы не смогла «поднять» такие проекты, как оранжевая революция или евромайдан.

Наконец, хочу ещё раз подчеркнуть, что хотя выше изложение материала строилось в форме, позволяющей предположить, будто я поддерживаю идею о базисе и надстройке (причём в качестве базиса я рассматриваю экономику), на самом деле эта форма была лишь данью общепринятой манере выражаться. Упадок всех сфер жизни Украины не может быть объяснён проблемами в какой-то одной или даже нескольких сферах (соответственно, невозможно указать, сферу, с которой может начаться её, Украины, «возрождение»).

Следует ли из того, что было сказано выше, что Украину в скором времени ждёт печальный конец? Отнюдь. Однако, во-первых, перелом той тенденции, которая была рассмотрена выше, выход из *уже крутого* пике сегодня, к сожалению, не просматривается и, во-вторых, предсказание хоть каких-нибудь параметров такого перелома, как мне кажется, выходит далеко за пределы возможностей современной политической или какой-либо иной науки[61].

Итак, как же сказанное в этом приложении проливает свет на то, почему националистический дискурс оказался на Украине столь устойчивым (напомню, что в предыдущем приложении я обещал вернуться к данному вопросу)? Ответ прост: потому что для разработки и введения альтернативного дискурса (даже при наличии развитой теоретической базы) необходимы значительные ресурсы — материальные, интеллектуальные, финансовые. Количество же таких ресурсов с каждым годом независимости неуклонно сокращалось. При этом разрушительные, центробежные тенденции нарастали. В конце концов, никому уже просто не

[60] Как известно, склероз — это замена высокоспециализированной ткани соединительной.

[61] Здесь, кстати сказать, мы выходим на ещё одну причину устойчивости парадигмы развития, её *удобства*. Дело в том, что разложение, которое, как и развитие, может продолжаться *практически бесконечно*, вообще говоря, не предполагает установления какого-то стабильного состояния, описываемого в *положительных* терминах. Вследствие этого соответствующая парадигма, во-первых, лишена присущей парадигме развития целостности, законченности, *положительности*, а во-вторых, чисто психологически непривлекательна.

было дела до введения в политический дискурс более современной, более *адекватной* теории.

* * *

Поскольку отсылки к большинству идей, приведённых в начале этого приложения, сформулированы достаточно явно, в его конце я остановлюсь лишь на некоторых моментах (касающихся, прежде всего, возможности сравнительно мирного сосуществования двух альтернативных теорий).

По поводу сказанного о парадигмах можно было бы возразить, что вопрос о том, какую из них следует выбрать, можно решить, если привлечь дополнительные *эмпирические данные*. Действительно, привлечение дополнительных данных могло бы помочь. Однако, как я попытался показать выше (пункт 2.2 «О степени покрытия теориями фактов»), «эмпирические данные» могут возникнуть только при наличии развитой качественной теории. При этом самых разных *фактов* у нас может быть море (но, повторяю, не эмпирических данных!). Более того, можно предположить, что отсутствие теории распада препятствует дальнейшей разработке самой теории развития. То есть теория развития оказывается *недоразвитой*.

Поскольку мы по большому счёту не знаем, какие признаки однозначно указывают на распад, в тех случаях, когда отсутствуют и явные признаки развития, мы с практически одинаковыми основаниями можем говорить как о первом, так и о втором — что мы, собственно, и имеем в рассмотренном выше случае Украины.

По тем же причинам мы чаще всего не можем точно сказать, идёт ли речь о распаде тех или иных государственных структур, или их «перерождении», «реформировании», «трансформации» и проч.[62]

Ещё одно следствие отсутствия теории распада — повсеместное использование лексики, словаря парадигмы развития — даже там, где она, вроде бы, совершено неуместна. Другими словами, из-за отсутствия теории, дополняющей теорию развития (то есть теории, являющейся результатом разработки парадигмы развития), мы оказываемся существенно недооснащены и вынуждены пользоваться очень несовершенным инструментом. Точнее, этот инструмент оказывается очень «однобоким».

Ещё один момент. Кто-то мог бы предположить, что определить, какая точка зрения на те или иные процессы (основанная либо на парадигме развития, либо на парадигме распада) была истинной, можно постфактум. Например, если то или иное государство разваливается, прекращает своё существование, значит были правы те, кто трактовал процессы, происходившие в нём, как процессы распада. Однако главное преимущество любой теории — это возможность знать наперёд, что должно произойти при определённых обстоятельствах. В описанном же случае сделать такое предсказание невозможно (очевидно — из-за слабости теории), поэтому даже тот «предсказатель», который вроде бы оказывается прав, является не более чем обычным участником лотереи, а верность его «прогноза» не является доказательством верности теории, на которую он опирался. Например, после развала Советского Союза некоторых учёных, предсказывавших его развал, стали превозносить как пророков. И они действительно были пророками, поскольку они сделали свои предсказания, основываясь не столько на своих теориях, сколько руководствуясь интуицией — будь это иначе, мы бы уже обладали теорией, позволяющей предсказывать подобные коллапсы. Однако такой теории у нас нет, и следующий коллапс (того или иного государства или надгосударственных систем) будет точно таким же сюрпризом, как и коллапс СССР.

[62] Цитата отчасти по теме, отчасти проблематизирующая приведённые рассуждения: «От химика, описавшего какую-либо реакцию, не ждут, что он вынесет о ней оценочное суждение. Почему же политический аналитик должен характеризовать одну фазу этой беспрерывной трансформации как прогресс, а другую — как упадок?». [Жувенель 2011: 240].

Кто-то мог бы также предложить просто избегать использовать такие абстрактные категории, как развитие или упадок, избегать построения слишком общих теорий и сосредоточиться, например, на так называемых «case-study». На первый взгляд, это могло бы показаться выходом из положения. Однако при принятии такой точки зрения следует учитывать, что любые case-study возможны только при наличии некоторых парадигм, абстрактных теорий и т. п., они, case-study, базируются на концептуальном аппарате, предоставляемых этими парадигмами и теориями. Просто от «долгого употребления» эти парадигмы и теории стали настолько привычными, что мы, работая в их рамках и проводя исследования конкретных случаев (эти самые case-study), начинаем считать себя совершенно свободными от этих рамок. Существующий же набор теорий, как я уже говорил, образует достаточно замкнутую совокупность, совокупность, которая имеет достаточно жёсткие границы и раздвинуть эти границы нельзя, занимаясь лишь case-study — коль скоро эти последние не способны выйти за рамки, задаваемые более общей теорией. Для того же, чтобы выйти за эти рамки, необходимо создание новых абстрактных теорий.

Следующее приложение — ещё одна попытка увеличить количество таких теорий (ну и, конечно, иллюстрация основных идей построенной выше теории).

Приложение 6. Управляют ли обществами аморальные люди

6.1. К постановке проблемы. Задание «начальных условий»

Предположим, что существует некая проблема, достаточно сложная и многогранная, чтобы её можно было решить (или хотя бы проанализировать) в рамках какой-то одной из существующих теорий (или, точнее, в рамках одной теоретической дисциплины, направления, например, политологии).

Казалось бы, логический вывод из только что сказанного состоит в том, что мы должны привлечь для её анализа разные теории, теории, принадлежащие разным направлениям. Однако это не совсем так. Решение проблемы или хотя бы её адекватный анализ может быть получен только в рамках *одной* теории, причём более высокого порядка абстракции, чем имеющиеся. В любом другом случае мы будем получать не собственно решение проблемы, а всего лишь разные её «срезы». Поэтому, когда мы начинаем привлекать для решения (описания, анализа) проблемы разные теории, часто из разных областей знания, это является совершенно вынужденной мерой, проистекающей из нашей недооснащённости теориями более высокого уровня. В свою очередь, подобное «конструирование» приводит к тому, что профессиональный уровень анализа резко падает — коль скоро нельзя быть равно осведомленным о теориях, методологии и т. д. разных областей знания. Поэтому то, что получается в результате такого конструирования, может быть в лучшем случае лишь *квазирешением* (квазианализом, квазиописанием и т. д.).

Является ли только философия той *сферой*, которая может породить подходящие теории (то есть теории более высокого уровня абстракции, чем используемые для получения квазирешений), или же существует некий промежуточный уровень (находящийся между совокупностью конкретно-научных теорий и философией)? Этот вопрос ждёт своего решения.

Проблема, к анализу которой я собираюсь обратиться в этом приложении, наглядно демонстрирует все эти моменты.

В первом приближении эту проблему можно сформулировать в виде следующего вопроса: управляют ли обществами аморальные люди[63]?

[63] Забегая вперёд, скажу, что из-за нехватки синтетических теорий высокого уровня абстракции я вынужден буду прибегнуть к «конструированию» неких квазирешений, используя для этого «куски» различных теорий. Что правда, я не ограничусь только этим, а сделаю попытку разработать теорию, которую можно рассматривать

Следует заметить, что эта проблема в разных формах существует со времён Сократа и с некоторыми оговорками, вероятно, может считаться квинтэссенцией проблематики политологии и политической философии. Поэтому получается, что это приложение, возможно, следует рассматривать как своего рода ответ на все те вопросы, которые были поставлены в предыдущих приложениях, как своего рода *кульминацию* предыдущих рассуждений. Соответственно, все эти приложения в своей совокупности оказываются внутренне структурированными, образующими некую *систему*. Возможно, это не случайно. Как пишет Т.А. Алексеева, «одной из наиболее важных задач политической теории XX столетия был поиск ответа на вопрос: могут ли политические проблемы в принципе разрешаться на рациональных основаниях? Политический мыслитель формулирует какую-то проблему, например: Какова роль государства? Что такое справедливость? Какая форма правления может считаться наилучшей? И т. д. Вскоре теоретик обнаруживает, что попытка рационально осмыслить любую проблему или вопрос, касающийся политики государства или политического общества, обязательно приводит его к необходимости включить в свой анализ, помимо рациональных, также и *моральные* (выделено мною — А.Ш.) аспекты. Иными словами, через постановку политических вопросов исследователь, как правило, ищет возможность обоснования хорошего или дурного способа реализации политической власти» [Алексеева 2000: 68].

Другими словами, выход на моральную проблематику происходит *автоматически*, в какой бы сфере политологии мы ни работали, какие бы политологические вопросы ни рассматривали.

Итак, решение сформулированной выше проблемы в общем случае должно разворачиваться как минимум по двум линиям, в двух *измерениях*. Первое такое измерение — *историческое*, второе — *режимное*.

В первом случае вопрос следует рассматривать с точки зрения того, меняется ли ситуация с моралью власть предержащих с течением времени, от эпохи к эпохе[64]. Во втором — меняется ли она в зависимости от политического режима[65].

Особый интерес с точки зрения сегодняшнего дня представляют, естественно, централизованные государства, возникшие на территории Европы в Новое Время, государства с развитой бюрократией, впоследствии — демократической формой правления.

Возможно, кроме исторического и режимного измерений необходимо также ввести измерение *цивилизационное.* То есть рассмотреть вопрос о морали власть имущих в зависимо-

---

как теорию более высокого порядка, чем те, которые бы дали при их применении типичное квазирешение. Речь идёт о попытке создания теории, которая бы позволяла рассматривать аморальность и то, что принято называть психологическими дефектами, как явления, имеющие одну природу. Однако об этом более подробно ниже.

[64] Одна из немногих работ на эту тему: Koselleck 1973.

[65] Недавно результаты подобного исследования применительно к *уровню образования* политических лидеров были представлены в: Besley 2011. На основе значительного массива данных было показано, что в демократических странах вероятность прихода к власти высокообразованных политиков на 20 % выше, чем в авторитарных. Также в этой работе мимоходом ставится вопрос о связи между уровнем образования и моральными качествами политика. Что правда, дальнейшего развития он не получает. См. также: Моисеева 2009. Вот небольшая цитата из этой работы: «В американской истории можно выделить несколько поколений политической элиты, каждое из которых существенно отличалось друг от друга. С момента основания в конце XVIII в. государства правящая верхушка США состояла, как правило, из образованных, талантливых и уважаемых выходцев из аристократических кругов. Первые американские президенты Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, Т. Джефферсон и Дж. Мэдисон были не просто отцами-основателями первой в мире республики, но и просветителями, выдающимися мыслителями. Именно поэтому в общественном сознании прочно утвердилось идеалистическое представление о политическом руководстве как об интеллектуальной элите своего времени» [Там же: 3].

Попытка показать, что авторитарные режимы способствуют приходу к власти аморальных людей в большей мере, чем демократические, была предпринята Ф.А. Хайеком в: Хайек 1992.

сти от того, к какой цивилизации принадлежит то или иное государство — западной или восточной, христианской, мусульманской или буддистско-конфуцианской и т. д.

Очевидно, что эти измерения-линии могут *накладываться* друг на друга, давая тем самым разные комбинации и порождая целые серии конкретизирующих проблему вопросов. Например, мы можем рассмотреть, как меняется ситуация с моралью власть имущих при переходе от феодализма к капитализму, или от аристократической формы правления к демократии. Сопровождаются ли такие переходы изменениями в уровне моральности/аморальности правителей? Если да, то *в какую сторону*? Как всегда, особенно интересным представляется случай революционной смены строя. Меняется ли сама мораль при смене «общественной формации»? Вообще, можно ли говорить о некой общепринятой морали или на самом деле каждая социальная группа имеет свою особую мораль?[66]

Другая группа вопросов связана с тем, что развитые общества, а потом и государственные объединения, вообще говоря, формировались существенно разными путями (например, в результате войн, завоеваний, торговли, колонизации и проч.). Можно ли утверждать, что в каждом из этих случаев аморальность была важной характеристикой элит?

Уже сейчас очевидно, что методологии, достаточно развитой, чтобы ответить на эти вопросы, не существует. Прежде всего, не существует *теории морали*, в достаточной степени разработанной для того, чтобы на неё действительно можно было опереться при проведении конкретных исследований: наши представления о морали носят либо слишком абстрактный характер, либо сводятся к традиционным, бытовым представлениям[67]. Возможно, именно вследствие этого обстоятельства это понятие (мораль) с таким трудом поддаётся *операционализации*. Попросту говоря, мы до сих пор не знаем, как научными методами измерить «уровень морали» того или иного человека, можно ли это сделать вообще[68].

Другая проблема, во многом вытекающая из только что упомянутой и также серьёзно затрудняющая проведение исследований в данной области, состоит в том, что доступ к большинству сколько-нибудь серьёзных политиков существенно ограничен. Получить в достаточной степени достоверные сведения об обстоятельствах их жизни, их действительных убеждениях, «жизненной философии» довольно проблематично. Ситуация осложняется ещё и тем, что далеко не всегда мы можем быть уверены, что те люди, которых мы считаем обладающими реальной властью, не являются просто «куклами».

Наконец, в придачу ко всем перечисленным трудностям проблематика этого приложения сама по себе может вызывать определённое неудобство. Хотя бы потому, что, возможно, учёным, взявшимся за нее, рано или поздно придётся признать самим и призвать признать всех остальных, что все мы живём под властью людей худших, чем большая часть живущих на Земле, худших, чем они (учёные) сами, и что изменить что-либо им, скорее всего, не под силу. Что, безусловно, не очень-то приятно. Сужу в том числе и по себе[69].

---

[66] «…Мораль определяет не универсалистски, но в терминах подчинения правилам той или иной касты или общественного положения, что похоже на профессиональную этику, которая исключает конкуренцию среди лиц данной профессии» [Олсон 2012: 200].

[67] «Обоснование морали — традиционная, к тому же центральная, тема философской этики. Как всякая философская тема она является вечной: не имеет однозначного решения, хотя и предполагает его. Обоснование морали остаётся предметом постоянного философского вопрошания» [Гусейнов 1995: 48]. «…Несмотря на то, что философия многократно продемонстрировала свою неспособность дать обоснование морали и даже… открыто признала своё бессилие в данном вопросе, мораль как феномен культуры испытывает потребность какое-то из обоснований морали — чаще всего последнее по времени — рассматривать в качестве истинного» [Там же].

[68] В отличие от *уровня образования* — возвращаясь к Besley 2011.

[69] Не следует сбрасывать со счетов и то, что благосостояние большинства учёных и философов часто прямо или косвенно зависит от власть предержащих. То же можно было бы сказать, например, о журналистах, которые не стесняются разоблачать пороки власть имущих. Однако журналисты, в отличие от учёных, как правило, не

Так что же, может быть стоит отказаться от попыток решения данной проблемы в виду описанных трудностей?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, я должен ещё раз напомнить некоторые идеи раздела 2 («Теория-реальность») первой части работы, касавшиеся *плотности покрытия фактов теориями*. Как я попытался показать, для социально-политических наук сегодня характерна ситуация, когда плотность такого покрытия чрезвычайно мала. Также я попытался показать, что «эмпирические данные» (которые, в частности, подразумевают измерения) могут появиться только после появления достаточно мощной качественной теории (или, скорее всего, конгломерата из нескольких теорий, имеющих одно *ядро*)[70]. В свою очередь, появление такой теории (теоретического конгломерата) возможно только после того, как плотность покрытия конкурирующими теориями множества релевантных фактов достигнет некоторого порогового значения.

Очевидно, что в случае сформулированной выше проблемы теорий, которые хотя бы просто её *касались*, не слишком много[71]. То есть до создания одной интегральной теории или нескольких, но имеющих общее ядро теорий ещё очень далеко. Поэтому задача, актуальная в ближайшее время — это создание как можно большего количества качественных теорий, так или иначе трактующих данную проблему. В любом случае, уже сейчас мы можем указать *условия*, благоприятствующие тому, чтобы обществами действительно управляли аморальные люди. Вообще, чем шире будет теоретическая «подкладка», которую нам удастся создать, чем больше «идеальных типов» мы сумеем сконструировать, тем точнее мы сможем определить, каких именно «данных» не хватает.

Один из таких идеальных типов я и собираюсь представить ниже. Для простоты я предлагаю принять, что обществами действительно управляют аморальные люди. В этом случае задача сводится к тому, чтобы показать, почему это так. Я по необходимости буду вынужден игнорировать большинство тех измерений, о которых говорил выше — просто потому, что ввести их в «оборот» сегодня нет никакой возможности (из-за неразвитости теории). Также следует отметить, что мои рассуждения будут касаться достаточно развитых, сложных обществ, обществ, для которых политика стала *системой*, а политики — особым классом.

Вообще, задача-минимум, стоящая передо мной (естественно, помимо демонстрации того, как работает концепция, изложенная в первой части) — это увеличить «вес» данной проблематики в научном дискурсе, создать хотя бы элементарную базу для возможных дальнейших дискуссий.

И последняя *установка*. Я считаю совершенно необходимым *избегать в рассуждениях о морали власть предержащих подходить к оценке тех или иных релевантных феноменов с моральной точки зрения*, то есть с точки зрения некой конкретной морали. Другими словами, нам следует избегать *давать моральные оценки моральным феноменам*[72].

делают широких обобщений и всегда могут сказать, что пишут гадости не о «политическом классе» вообще, а о конкретных политиках. Учёный же и философ *всегда* обязан делать широкие обобщения. Поэтому в рассматриваемом нами случае ему — в зависимости от результатов его изысканий — пришлось бы, возможно, сказать, что вообще *весь* этот класс — «дураки и подлецы». Правда, у него есть та лазейка, что случаются исключения, то есть что среди всех этих дураков и подлецов тоже иногда попадаются умные и порядочные люди.

[70] Пожалуй, сегодня лишь теория демократии развилась до такого уровня, когда измерения *имеют смысл*.

[71] Среди немногочисленных работ, касающихся этой проблемы, можно упомянуть Ницше 1997 и ту же «Дорогу к рабству» Ф. Хайека (глава «Почему правят худшие»).

[72] Например, такой: «Как плохо, что обществами управляют аморальные люди!». Таким образом мы, очевидно, избежим того, в чем Ф. Ницше обвинял первых христиан.

6.2. О соотношении моральной и психологической проблематики

Психологические отклонения часто сигнализируют о себе аморальным поведением. Неспособность различать «добро» и «зло», испытывать угрызения совести являются отличительными признаками социопата [Мак-Вильямс 1998; Хаэр 2007]. Нельзя ли предположить, что аморальное поведение *всегда* является следствием тех или иных психологических «дефектов», то есть что понятие «психологическая дефектность» поглощает понятие «аморальность»? Очевидно, что нашу основную проблему в этом случае следовало бы заменить такой: «почему обществом управляют „психологически ущербные“ („дефектные“, „недоразвитые“, „аномальные“ и т. п.)?»

Следует признать, что такая возможность существует. В её пользу, помимо прочего, свидетельствуют и данные антропологии. Например, «в архаических социумах лидерами зачастую становились люди с физическими и психическими отклонениями. Другими словами, поведенческий алгоритм, возникший в результате становления социальной нормы в ходе антропосоциогенеза и определивший восприятие лидера как непохожего, исключительного, „аномального“, распространялся и на внешние признаки людей» [Бочаров 2006: 199].

Вообще, «…складывается впечатление, что наиболее выдающиеся руководители, т. е. те, которые не только сами ориентировались на реформы, но и заражали своими идеями огромные массы людей, характеризовались очевидными психическими отклонениями. Эти сведения, как представляется, могут быть положены в основу предположения о тесной взаимообусловленности творческого процесса вообще и управленческой деятельности в частности, психической аномальностью как необходимой или, в крайнем случае, существенной характеристикой этой деятельности» [Там же: 201–202].

Также представляется, «…что „закодированная“ в человеческой культуре установка на власть как на аномальное явление, формирование которой относится к начальным стадиям человеческой истории, обусловила и известное отношение людей к подобного рода индивидуальностям. Люди с психическими и физическими отклонениями воспринимались как бы естественными лидерами, так как отличались от других, значит, могли вызывать у окружающих уже известные нам эмоциональные ощущения. Интересно, что и сегодня, особенно в обыденном сознании, довольно широко представлено мнение, что к власти стремятся „ненормальные“, „закомплексованные“ люди. В нём, безусловно, есть резон. Однако нам представляется, что их стремление к власти объясняется не только и не столько особым душевным складом таких людей, сколько отношением к ним самого социума, в известном смысле навязывающем им эту роль. Возможно, что по мере исторической эволюции общества и, прежде всего, с развитием престижной и имущественной сторон власти она становилась всё более притягательной для широкого круга самых различных людей. Надо сказать, что и в этнографической литературе довольно распространена точка зрения, что архаическими лидерами (колдунами, шаманами и т. д.) были обманщики, авантюристы, т. е. люди, стремившиеся к такому статусу в рационально-корыстных целях. Но для этого им было необходимо организовать своё поведение, исключив из него элемент аномальности» [Там же: 202–203]. «Похоже, что и сегодня искатели власти имеют те же перспективы. Иными словами, такой выбор предполагает для них перспективу постоянно „держать себя в рамках“, что далеко не каждому по душе. Поэтому и сегодня власти ищут преимущественно люди с известными физическими и психическими отклонениями, которым, с одной стороны, в силу этих недостатков не составляет особого труда отказаться от многих „радостей жизни“, а с другой — само общество своим отношением к ним формирует в них соответствующую установку» [Там же: 203].

Искушение заменить первоначальную проблему на её, так сказать, *психологический вариант* велико ещё и потому, что в этом случае мы вступили бы на почву куда более твёрдую,

чем философия морали. Однако не будем спешить. Оснований для полного вытеснения моральной проблематики психологической на сегодня, как и во времена З. Фрейда [Фрейд 1999], недостаточно. Поэтому для большей строгости выводов пока предположим, что аморальность, вообще говоря, не тождественна психологической ущербности (хотя можно предположить, что до того, как психологические знания развились до определённого уровня, характеристика того или иного поведения как аморального была одним из способов маркировки некоторых форм патологического поведения).

Можно было бы предположить, что объёмы соответствующих понятий просто *пересекаются*. Однако и этого мы сделать не можем, поскольку аморальность и психологическая ущербность могут просто *коррелировать*. С другой стороны, если бы мы показали, что такая корреляция действительно существует и она достаточно устойчива, то для решения тех проблем, которые мы здесь рассматриваем, этого было бы, возможно, вполне достаточно. Полагаю, что основания говорить о наличии такой корреляции и о том, что она действительно устойчива, у нас есть. Однако для того, чтобы это показать, нам необходимо более подробно рассмотреть вопрос о происхождении, сущности и судьбе морали (некоторые экскурсы ниже могут показаться излишними, однако они необходимы для большей основательности рассуждений)[73].

Итак, существуют и, так сказать, априорно возможны *два* подхода к определению сущности морали (вероятно, чётко прослеживаемые у И. Канта [Кант 1965], а на самом деле восходящие к Сократу и Платону).

В соответствие с **первым подходом**, мораль — это чисто историческое явление, то есть феномен, возникший в определённый момент развития человечества и трансформирующийся в ходе этого развития.

Понимаемая так мораль возникает во многом стихийно, формируется постепенно. Совокупность моральных норм и воззрений соответствует определённому уровню развития общества и меняется в ходе истории, от эпохи к эпохе, от народа к народу. И хотя для данного общества в данное время набор соответствующих моральных норм носит абсолютный характер, в историческом плане эта абсолютность вовсе не обязательна.

Один из выводов, который следует из сказанного (впрочем, не с необходимостью — об этом ниже), состоит в том, что в определённый момент мораль может исчезнуть как феномен[74].

Здесь я должен сделать одно важное замечание. Дело в том, что мораль — это, как было только что сказано, во многом стихийно формирующийся феномен. Насколько он зависит от воззрений и оценок философов, рассматривающих его, так сказать, со стороны, ещё предстоит выяснить. Поэтому утверждать, что мораль может исчезнуть навсегда потому, что некоторое количество философов на основании каких-то своих построений усмотрели, что набор моральных норм является исторически детерминированным и потому относительным, с необходимостью нельзя. Утрируя, можно сказать, что если некоторое количество людей считает определённые воззрения предрассудками, это вовсе не означает, что эти воззрения перестанут существовать и определять поведение тех людей, которые их предрассудками не считают.

Другими словами, даже если определённое число философов считает (причём не просто так, а вполне обоснованно), что *любые* моральные нормы не являются абсолютными, это вовсе не означает, что мораль как нечто абсолютное (естественно, абсолютное *для других* людей), исчезнет.

---

[73] Хорошее представление о сложности и глубине этой проблематики даёт Апресян 2006.

[74] Об отсутствии прогресса в сфере морали писал, в частности, Дж. Коллингвуд [Коллингвуд 1980: 316–317].

Второй подход к сущности морали, который, как кажется, до сих пор отстаивается некоторыми философами и который условно может быть назван *метафизическим*, заключается в том, что мораль рассматривается с точки зрения неких абстрактных, *всегда справедливых принципов*, вообще говоря, независимых от времени и исторических условий. Вопрос, таким образом, состоит только в том, чтобы такие принципы отыскать[75].

Данный подход, очевидно, предполагает существование некой неизменной человеческой природы (что, впрочем, не исключает того, что эта природа развёртывается в ходе истории)[76]. В чистом виде он сегодня вызовет вполне справедливую критику. Однако совсем сбрасывать его со счетов, мне кажется, не следует. Тем более что существует возможность *объединить* эти два подхода. А именно: моральные нормы действительно могут существенно меняться, но идентификация неких норм как моральных и их *категорическая императивность* наличествует всегда.

На мой взгляд, принятие данной идеи невозможно без принятия другой: мораль существенным образом укоренена в психическом бессознательном, причём это бессознательное, скорее всего, не может быть — по крайней мере, в сколько-нибудь обозримом будущем — постигнуто, *разложено* разумом. Как пишет В. Франкл, «то, что называют совестью, по сути, погружено в глубины бессознательного, коренится в подсознательной основе. Ведь большие и подлинно экзистенциальные решения в жизни человека всегда нерефлексируемы и тем самым неосознанны; истоки совести восходят к бессознательному» [Франкл 1990: 97].

В свете только что сказанного, рассмотрим вопрос о современной морали. Современной моралью я здесь называю ту мораль, которую сегодня чаще всего называют *традиционной*. Делаю я так потому, что, как мне кажется, эта современная мораль в общих чертах действительно сохраняет основные черты традиционной морали (вероятно, благодаря *ментальной инерции*).

Итак, происхождение современных моральных норм со значительной долей вероятности можно связать с *религией*. Такая связь может быть двоякой.

1) Мораль происходит *из* религиозных верований[77]. Если это так, то с утратой религией своих позиций современные моральные нормы должны утратить свою абсолютность, императивность (что мы сегодня и наблюдаем). Однако поскольку общество достаточно инертно,

[75] «Обосновать мораль — это значит 1) определить собственную основу морали, её первопринцип, добраться до простейшего морального факта, до источника, из которого река морали берет своё начало, очистить мораль от посторонних скрывающих её природу наслоений… 2) подвести под мораль основу, более прочную чем она сама, вывести её из иной — внеморальной — реальности, обладающей жёстким бытийным статусом… 3) раскрыть всеобщую основу, объективно-истинное содержание морали, независимое от каких бы то ни было субъективных интерпретаций и индивидуальных воплощений… 4) обосновать её логически, как требование разума, необходимый вывод последовательного мышления… Обозначенные смыслы не исключают друг друга и могут быть интерпретированы как разные аспекты одной и той же проблемы» [Гусейнов 1995: 49–50].

[76] Если такая природа существует, то, возможно, она «…может дать нам нейтральное основание для определения природы человеческой морали и соответствующих институтов» [Алексеева 2000: 63]. Вообще, «если мы можем идентифицировать фундаментальную природу отдельного человека, независимо от социального и политического контекста, тогда мы сможем что-то сказать и о политике, соответствующей его природе. Кроме того, возникает возможность выяснения того, что такое благо и какие именно институты будут способствовать, поддерживать и воплощать это благо. В итоге можно получить весьма разумную теорию политики, учитывающую основные цели человеческой жизни. Теория сможет принять во внимание достоинства человека, которые в свою очередь будут поддерживаться системой институтов на основе разделяемых ценностей» [Гусейнов 1995: 64–65].

[77] Например, Л.Н. Толстой доказывал, что нравственность вне религии невозможна [Толстой 1956: 3–26]. См. также: Мартьянов, Фишман 2012. Уильям Пикеринг по поводу воззрений Э. Дюркгейма: «Для Дюркгейма сакральное бессмертно… То есть подразумевается, что в любом обществе неизменно наличествует конститутивный элемент, который может быть обозначен как сакральное. Его содержание может со временем меняться, и обычно это и происходит, однако как реальность он существует всегда и в этом смысле является вневременным» [Цит. по: Каспэ 2011: 6].

процесс этот протекает сравнительно медленно, так, что у многих людей, в том числе философов, до сих пор есть иллюзии на счёт вневременной, внеисторической природы этой морали[78].

2) Современная мораль и религия являются *существенно самостоятельными феноменами*, однако имеют *общее начало*. Наиболее очевидный претендент на то, чтобы быть таким началом, как следует из сказанного выше — бессознательное психическое. В этом случае отмирание религии вовсе не влечёт за собой (по крайней мере, с необходимостью) полное отмирание этой морали. Хотя, безусловно, многие из её норм и могут потерять свою императивность.

Поскольку этот второй вариант менее жёсткий, предлагаю на нем остановиться[79].

Помимо прочего, приведённые выше соображения дают дополнительные основания для того, чтобы утверждать, что между аморальностью и психологической ущербностью (недоразвитостью, незрелостью, фиксации на некоторой стадии развития психики и т. п.) существует стойкая связь.

Действительно, если мораль существенным образом укоренена в бессознательном психическом и, возможно, в случае конкретного человека формируется в значительной мере бессознательно, а психологические отклонения, если верить психоанализу, всегда связаны с наличием психологических травм, полученных на ранних стадиях формирования личности и ставших в последствие бессознательными, то можно предположить, что такие травмы могут вызвать сбои в формировании морали индивида, их, травмы, получившего[80].

В мифологии, давно признанной неисчерпаемым источником для получения данных о структуре психике, можно легко найти примеры, подтверждающие сказанное. Возьмём классический миф об Эдипе. Как известно, Эдип получил политическую власть, совершив два поступка, которые признаются самыми аморальными: убил своего отца и женился на матери.

Этот же миф указывает на один из возможных источников формирования морали, а именно — отношения с родителями. Серьёзные нарушения в этой сфере (которые чаще всего и приводят к психологическим травмам) могут приводить и к неврозам, и к сбоям в формировании морали. Естественно, необходимо более подробно исследовать этот вопрос в плане формирования одержимости властью, *властолюбия*[81].

---

[78] Можно сказать, что ни у одного мыслителя до сих пор не было опыта жизни в обществе, начисто лишённом морали, морали *как феномена, производного от религии*.

[79] Можем ли мы влиять на выработку новых моральных норм или этот процесс полностью стихиен и рационально неуправляем? Некоторые современные философы считают, что такое влияние возможно. Например, Хабермас 2001. Однако даже если согласиться с тем, что это действительно так, всё равно следует констатировать, что до конца контролировать этот процесс вряд ли возможно, особенно, если продолжать стоять на позициях западного рационализма.

[80] Ещё одно указание на укоренённость морали в бессознательном психическом — *абсолютность* её норм. «Мораль претендует на абсолютность. Её требования предстают как безусловные, категоричные. Они имеют такую форму как если бы они содержали в себе свою собственную основу. Мораль абсолютна в своей непосредственности, данности… В жизни личности абсолютная нравственность обнаруживает себя в качестве неумолимой иррациональной силы, которая позднее получает название голоса совести» [Гусейнов 1995: 50]. А вот что говорит по этому поводу И. Кант: «Итак, мы не постигаем практической безусловной необходимости морального императива, но мы постигаем его непостижимость; более этого уже нельзя по справедливости требовать от философии, которая стремится в принципах дойти до границы человеческого разума» [Кант 1965: 310].

[81] Структура семьи, характерная для данного общества, коррелирует с характером морали, характерной для него. Сбои в «функционировании» семьи, разрушение её структуры могут сопровождаться сбоями в формировании морали индивидуума. Возможно, наблюдаемый сегодня рост числа неполных семей, семей без отца, сигнализирует о существенных изменениях в характере политических процессов (возможно, пока не очевидных). Возможно так же, что сегодня мы наблюдаем окончательное разрушение того типа морали, который был характерен для патриархальной семьи.

Следует подчеркнуть, что только что сказанное нельзя рассматривать как полноценное обоснование связи аморальности и психологической «ущербности». Однако я и не ставил такой цели — для такого обоснования у меня просто не хватает знаний. Главной своей задачей я видел установление связей (пусть, может быть, и неоднозначных) между сферами, которые обычно рассматриваются изолированно друг от друга. Надеюсь, мне это удалось.

Что дают нам те выводы, к которым мы пришли? Помимо прочего, они позволяют нам надеяться, что *рассмотрение психологического варианта нашей основной проблемы может способствовать определению путей решения самой этой проблемы*. Однако есть ли у нас основания полагать, что направление *решение психологической проблемы → решение моральной проблемы* более плодотворно, чем обратное?

Я склоняюсь к принятию именно первого варианта (*решение психологической проблемы → решение моральной проблемы*)[82]. На данный момент мне трудно дать обширное обоснование этого, однако надеюсь, что такой выбор будет в конце концов оправдан его результатами.

Конечно, такой подход не лишён недостатков. Например, если нам удастся показать, почему психологически ущербные люди добиваются власти чаще, чем остальные, то из этого не будет автоматически следовать, что мы решили и нашу основную проблему. По крайней мере, нам необходимо будет указать условия, при которых подобное будет справедливо.

И ещё несколько замечаний.

Можно ли говорить о *постепенности* перехода от моральности к аморальности? Я подозреваю, что нет. Точно так же, как и о постепенности перехода от психологического здоровья к патологии. Также, вероятно, нельзя говорить об уровне моральности, «среднем» для данного общества. Просто есть люди, которые перешли некую грань, и люди, которые её не перешли. Соответственно, пониматься наша основная проблема (аморальность правящих) тогда будет не столько *количественно*, сколько *качественно*: дело не столько в том, что среди власть имущих аморальных людей относительно больше, чем в других социальных группах, сколько в том, что власть имущие в принципе, как правило, аморальны (то есть что аморальность — это одна из их неотъемлемых, сущностных характеристик).

6.3. Почему правят худшие

Учитывая сказанное выше, учитывая те допущения, предположения и гипотезы, которые были сформулированы, то, что я скажу далее, следует рассматривать лишь как один из возможных вариантов соединения разнообразных положений, касающихся интересующей нас проблемы (аморальности власть имущих). Другими словами, я собираюсь представить один из тех *сценариев*, о которых говорил в п. 2.2 «О степени покрытия теориями фактов» первой части работы.

Позволю себе начать с ещё нескольких предположений, которые хотя с одной стороны и могут показаться довольно рискованными, недостаточно обоснованными и слишком общими, тем не менее, вполне очевидны и не требуют особых доказательств.

Власть имеет две стороны. Первая — собственно властвование, вторая — управление[83]. Соответственно, в теории, человек, стремящийся к власти, может стремиться либо к властво-

[82] Надеюсь, что предыдущие рассуждения гарантируют меня от обвинений в психологическом редукционизме.

[83] «…Власть… имела собственное бытие. И её сущность вовсе не состояла в её правом деле или правой цели. Власть способна существовать как чистое повелевание. И чтобы постичь её субстанциальную реальность, надо рассмотреть теперь именно то, без чего не бывает Власти, — эту самую сущность, которая есть повелевание.

ванию, либо к управлению. Естественно, таких «чистых» случаев обычно не бывает, поэтому речь должна идти об относительном превалировании одного из мотивов. Какой из двух мотивов сильнее? По-другому, какой человек будет более энергично и настойчиво бороться за власть — мотивируемый в большей мере стремлением властвовать или управлять?

В целом, превалирование стремления управлять (или, лучше сказать, недостаточно сильное стремление властвовать) должно свидетельствовать о большей рациональности индивида и, в конечном счёте, его большей интеллектуальной и духовной развитости. Такой человек, вероятно, в большей мере способен оценивать свои поступки с точки зрения соотношения «затраты-выгоды» и с большей вероятностью откажется от борьбы, если считает, что издержки слишком велики (мы пока не рассматриваем экстремальные случаи, когда речь идёт о жизни и смерти). Такой человек, вероятно, также не станет рассматривать *власть-как-властвование* как нечто ценное само по себе, сто́ящее любых усилий. То есть власть для него скорее является средством (для управления), а не самоцелью.

Наоборот, если для человека важно властвование, то власть становится для него самоцелью. Данное стремление следует, вероятно, рассматривать как иррациональное, а логика «затрат-выгод» в данном случае практически не действует (или действует в значительно меньшей степени, чем в первом случае).

Можно предположить, что иррациональность того или иного стремления — суть следствие наличия некоторого психологического дефекта, некоторой психологической разбалансированности. Поскольку стремление властвовать, господствовать над другими людьми — суть стремление иррациональное, у нас есть основания связывать его с наличием определённых психологических проблем.

Если стремление властвовать настолько сильно, что реализуется в конкретных действиях, то его можно рассматривать как нечто вроде *мании*. Мания, как правило, захватывает человека целиком, забирая почти все его силы. Люди, стремящиеся к власти ради власти, по сути, действуют как одержимые, маньяки, которых ничто не интересует кроме объекта их мании. Поскольку они бросают на достижение своей цели почти все силы, они имеют при прочих равных условиях больше шансов на её достижение, чем те, для кого эта цель не является объектом маниакального стремления[84].

Не могу удержаться, чтобы не упомянуть о стойкой ассоциации с детьми, которая возникает у меня, когда я думаю про людей одержимых стремлением к власти. Действительно, в этом своем стремлении они во многом похожи на детей, когда те, например, настойчиво добиваются игрушки, без которой вполне могли бы обойтись, прилагая к этому максимум своих детских сил и не считаясь ни с какими последствиями. Правда, в случае взрослых, одержимых стремлением к власти, речь идёт о совсем других интеллектуальных и энергетических затратах (а также последствиях).

Вероятно, эта ассоциация с детьми возникает неспроста. Думаю, не у меня одного. Ведь одержимость чем-либо свидетельствует об определённой недоразвитости психики, пребывании какой-то важной её части в инфантильном, то есть *детском* состоянии.

В этой связи следует отметить, что если уж зрелые, относительно психологически здоровые люди и начинают серьёзно, так сказать, «до крови» бороться за власть, то чаще всего только в том случае, если их жизни или жизням близких им людей угрожает опасность. Когда

Я возьму, таким образом, Власть в чистом состоянии — как повелевание, существующее *само по себе* и *для себя,* — в качестве фундаментального понятия и, оттолкнувшись от него, попытаюсь объяснить черты, развитые Властью в ходе исторического развития и столь изменившие её вид» [Жувенель 2011: 148–149].

[84] Естественно, и *смертность* (понимаемая как буквально, так и метафорически) в этом случае среди них будет больше.

же опасность устранена, власть становится им просто не нужна. По крайней мере, как-то сильно злоупотреблять ею у них охоты не возникает.

Поэтому наше рассуждение можно резюмировать так: люди, стремящиеся к власти как к самоцели (действительно стремящиеся, то есть целенаправленно предпринимающие для её достижения реальные шаги, бросающие на это почти все свои силы), даже не обладая особыми способностями, имеют больше шансов её получить (и получают), чем остальные, поскольку этим остальным она либо не особенно нужна, либо они не готовы (не хотят) действительно тратить на её получение ту энергию, которую тратят первые (для которых власть является идеей фикс, то есть той целью, ради которой они готовы на любые «энергетические траты»)[85].

Если сказать совсем коротко: одержимые скорее достигают цели, чем те, кто руководствуется по преимуществу рациональными мотивами.

И здесь мы непосредственно выходим на ту проблему, о которой речь шла в предыдущем пункте, а именно о связи аморальности и психологической ущербности: показав, почему люди с психологическим дефектом, выражающемся в стремлении к власти как самоцели, добиваются власти чаще, чем другие, мы, вообще говоря, ещё не показали, что эти люди аморальны. Другими словами, мы не можем со 100% уверенностью утверждать, что данный психологический дефект влечёт за собой аморальное поведение (или, по крайней мере, коррелирует с ним). Тем не менее, надеюсь, рассуждения предыдущего пункта дают нам право на предположение, что вероятность истинности такого утверждения всё-таки достаточно велика — собственно для этого они, рассуждения, и были нужны.

Таким образом, мы можем допустить, что иррациональное стремление к власти ради власти действительно всегда (почти всегда) сопровождается аморальным поведением, а значит, скорее всего, является по крайней мере коррелятом того психологического дефекта, который и порождает в человеке это иррациональное стремление.

Данные идеи легко проиллюстрировать с помощью *кругов Эйлера* (см. Рисунок 1).

Пусть

A — аморальные люди;

B — люди, имеющие власть и рассматривающие её как нечто ценное само по себе;

C — люди, имеющие власть и рассматривающие её лишь как средство;

D — люди, имеющие власть[86].

Область круга D, не закрытая другими кругами, либо нуждается в интерпретации, либо может рассматриваться просто как следствие несовершенства способа представления соотношений объёмов понятий, даваемого кругами Эйлера.

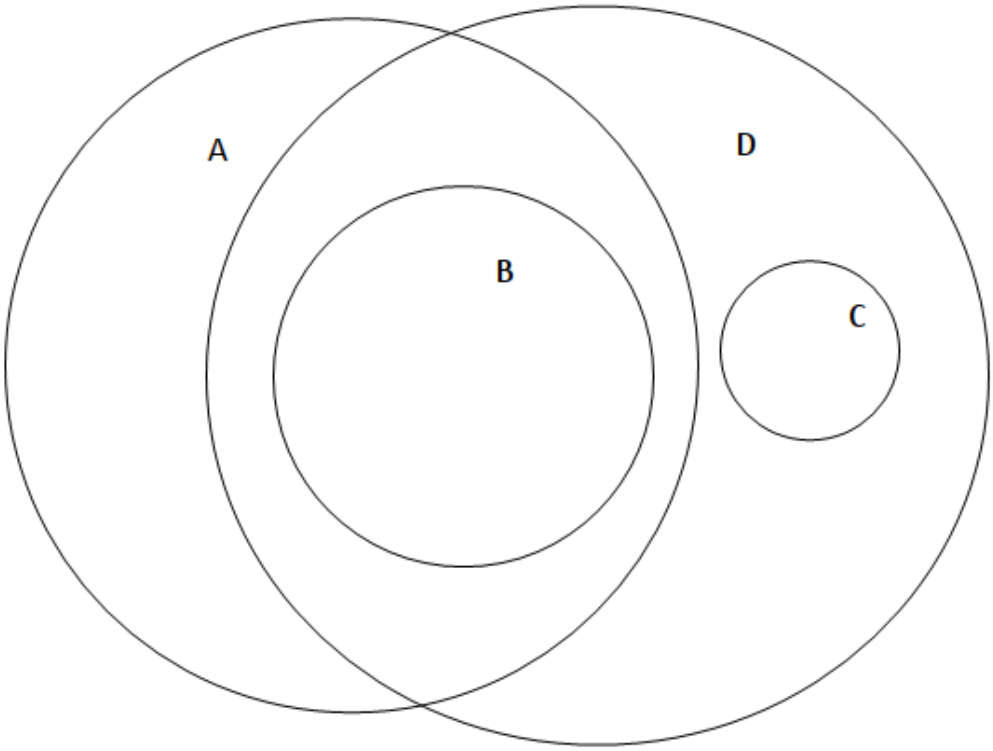
После всех проделанных рассуждений можно указать на ещё одно основание привлечения «психологического компонента» к решению нашей проблемы, возможно, наиболее важное (указать на него можно было бы и раньше, однако именно проделанные рассуждения делают его особенно выпуклым).

---

[85] Конечно, я здесь несколько — или значительно, как кому кажется — утрирую, однако должен заметить, что делаю я это не от непонимания сложности вопроса, а из-за стремления максимально выпукло представить свои мысли.

[86] Я употребляю выражение «имеющие власть», а не, например, «стремящиеся к власти», для того чтобы подчеркнуть, что речь идёт о *результате*, а не о *намерении*. В своих мечтах практически все люди воображают себя властителями (точно так же, как и совершают аморальные деяния), однако далеко не все реализуют эти мечты или хотя бы предпринимают для этого какие-то шаги. Однако аморальное поведение — это нечто реальное, осязаемое, а не *просто* мечты.

Рисунок 1.



Дело в том, что чисто *этический* подход не позволяет объяснить, почему аморальный человек не просто стремится к власти, а предпринимает для её получения определённые шаги, прилагает для этого усилия (часто очень значительные) и т. д. Другими словами, такой подход не объясняет очевидный *энергетический компонент*, присутствующий в рассматриваемом феномене. Психологический же подход как раз во многом исходит (ещё со времён З. Фрейда) именно из энергетического понимания психики.

Только что сказанное может вызвать следующее вполне уместное замечание: неужели человек не может быть столь же одержим всеобщим благом, любовью к человечеству, стремлением к тому, чтобы все были счастливы, чтобы это послужило источником энергии как минимум столь же мощным, что и *психологическая патология*, заставляющая другого жаждать власти и не останавливаться ни перед чем, чтобы её получить. Вероятно, для того, чтобы однозначно ответить на этот вопрос, следовало бы выяснить, может ли существовать одержимость *без* патологии. А также возможна ли патология без аморального поведения как своего обязательного коррелята. То есть «хорошая» одержимость.

Ради научной строгости допустим, что такая одержимость возможна. Каковы следствия из этого предположения? Самое очевидное — человек, *по-хорошему* одержимый, окажется чрезвычайно стесненным в средствах (по сравнению, разумеется, с теми, кто движим куда менее возвышенными мотивами). По сути, он будет лишён возможности применять большую часть из тех средств, что традиционно используются в политической борьбе. То есть окажется безоружным и, скорее всего, будет так или иначе уничтожен (в отличие от большинства тех, кто стремится к власти по рациональным мотивам и на некотором этапе просто «отходит в сторону», как о том шла речь выше)[87].

[87] Случай, когда некто с «хорошей» одержимостью начинает, повинуясь обстоятельствам, использовать неприемлемые с точки зрения морали приёмы, я не рассматриваю, поскольку это означает, что этот человек на самом деле не был одержим «по-хорошему».

Сказанное выше можно рассматривать как описание *внутренних условий*, необходимых для получения (или *неполучения*) власти. Внешние же условия, то есть *условия со стороны общества*, были обрисованы недостаточно чётко. Это упущение я попытаюсь сейчас устранить. Следует отметить, что эти же рассуждения помогут пролить свет на вопрос, почему народ обычно *терпит* аморальность правителей, попустительствует ей.

То, что кто-то стремится к власти с большей настойчивостью («одержимостью»), чем другие, само по себе далеко не всегда гарантирует, что он её получит. Действительно, общество может серьёзным образом препятствовать занятию руководящих должностей людьми, поведение которых явно даёт понять, что они жаждут этих должностей не столько ради «общего блага», сколько для удовлетворения собственных прихотей.

Следует признать, что определённый «отсев» действительно происходит. Однако достаточен ли он? При каких условиях он будет недостаточен? «Отсев», очевидно, будет недостаточен, если, например, у большинства граждан отсутствует интерес к политике, или они поддаются на банальный обман со стороны тех, кто стремится к власти (даже душевнобольные демонстрируют способность длительное время «морочить голову» окружающим). Продвижению аморальных людей по властной лестнице во многом способствует и то, что процессы, о которых идёт речь, достаточно длительны — к власти ведь, как правило, пробиваются не один день, — а также скрыты и просто физически не могут быть отслежены сколько-нибудь значительным количеством людей: кто может доподлинно знать, что происходит во властных кабинетах, к каким договорённостям приходят полушёпотом и т. д. Вероятно именно поэтому для многих людей бывает неприятным сюрпризом, когда они вдруг обнаруживают, что некая личность, известная им как отпетый негодяй, в один прекрасный момент вдруг оказывается, например, министром. Когда же он уже стал тем, кем он стал, усилия, необходимые для того, чтобы его вернуть на подобающее ему место, оказываются слишком велики. Поэтому большинство тех, кто знает, каков этот человек на самом деле, просто махают на это рукой, надеясь, что это случайность — ведь других-то, тоже, например, министров, они просто не знают. Зато их знают другие. И, чаще всего, тоже не с лучшей стороны. Однако те, которые доподлинно знают, что данный высокопоставленный чиновник — подлец, как правило, не знают других, которые доподлинно знают, что другой высокопоставленный чиновник — тоже подлец, и тоже наивно думают, что «их» подлец — это всего лишь случайность, что хороших людей больше, чем плохих и т. д., и т. д. В общем, идея, надеюсь, понятна. Данный механизм хорошо объясняется теорией *коллективных действий* и может послужить её (этой теории) неплохой иллюстрацией [Олсон 1995].

Конечно, кто-то может сказать, что на некотором этапе в действие вступает механизм разоблачения политиками самих себя, описанный Н. Луманом: одни политики, стремясь «похоронить» своих оппонентов, раскапывают и делают достоянием гласности тёмные факты их биографий, а оппоненты в свою очередь делают то же самое в отношении первых [Луман 1992]. В результате политический класс компрометирует сам себя. Как известно, Н. Луман считал, что этот механизм способствует повышению политических стандартов, дисциплинирует политиков и т. п. Однако, похоже, чаще всего подобный механизм просто способствует распространению среди избирателей циничного, презрительного отношения к большинству политиков и, таким образом, наоборот снижает планку к ним, политикам, требований. Другими словами, механизм, описанный в предыдущем абзаце, продолжает «исправно» работать, только теперь, возможно, уже при более низких ожиданиях относительно морали власть предержащих.

6.4. Снова дискурс и факты

За долгие годы существования философии мыслителями было создано множество теорий о том, каким должно быть идеальное общество, как оно должно управляться, организовываться и т. д. с тем, чтобы как можно больше людей были счастливы, чтобы на Земле царил мир, счастье и т. п.

Одно из ключевых мест в этих теориях отводилось тому, кто должен править. Как правило, это был либо правитель — справедливый и мудрый, либо группа таких правителей. Предполагалось, что в силу своих умственных и моральных качеств они будут управлять ко всеобщему благу. Следует отметить, что в их, философов, представлении, эти правители были скорее *управляющими*, чем собственно правителями, наподобие королей, императоров и т. п.

Конечно, это была всего лишь мечта, мечта, часто не имеющая ничего общего с фактами. Они, философы, выстроили её в соответствии со своими представлениями о прекрасном, справедливом, разумном. И я думаю, они верили в то, что рано или поздно она осуществится.

Эти теории распространялись по поверхности планеты, постепенно проникая в умы и формируя таким образом у тех, кто с ними оказался ознакомлен, определённое представление о том, как всё должно быть (этот процесс особенно интенсифицировался, очевидно, с изобретением книгопечатания). Скажу больше. Поскольку действительно оригинальные теории могут создавать только философы (представители же власти обычно либо вообще не пишут, либо пишут плохо, либо не способны придумать ничего действительно оригинального), то, как должно быть устроено справедливое общество, во все времена определяли именно они.

Что же из этого следует? Во-первых, что у большинства людей представление о том обществе, которое *должно быть*, сформировалось (и продолжает формироваться) именно на основе того, что было написано философами. Поэтому любое реальное общество, любых реальных правителей они оценивали и оценивают именно в соответствие с идеальными теориями, созданными философами.

Во-вторых, сами правители — в независимости от их моральных устоев (или отсутствия таковых) — для того, чтобы поддерживать веру в легитимность своего правления — вынуждены были с определённого момента — по крайней мере, в своем публичном поведении, в своем официальном дискурсе — не очень отклоняться от неких идеальных образцов, которые задавались в том числе и произведениями философов. Тем самым ещё больше укрепляя веру людей если не в то, что сами они (правители) идеальны, то по крайней мере в то, что общество должно стремиться к воплощению в жизнь идеальных теорий, в то, что государство должно управляться разумно, рационально, справедливо.

Короче говоря, благодаря всем этим моментам в обществе, в конце концов, сложилось определённое представление о том, каковы его цели, каковы те моральные нормы, которым должны соответствовать им управляющие, как оно должно управляться и т. п. (думаю, возможно более или менее точно указать, когда именно такое представление сложилось — естественно, для каждой территории отдельно; скорее всего, это произошло одновременно с рождением «общественного мнения»).

Как уже говорилось выше, по мере демократизации общества аудитория, которой следовало (или, хотя бы, было желательно) *предоставлять объяснения*, всё больше расширялась, пока, наконец, почти не совпала со всем взрослым дееспособным населением[88].

Необходимо ещё раз акцентировать следующий важный момент. Несмотря на то, что правители вполне могли преследовать свои собственные цели, цели, часто не имевшие с

[88] Об «объяснениях» см. мою статью: Швирков 2009.

благом народа ничего общего (то есть противоречащие тем нормам, которые задавали писания философов), они, тем не менее, вынуждены были *брать слова* именно у последних, даже если они внутренне были против тех идей, которые в этих концепциях продвигались. И потому, что им необходимо было как-то легитимировать свое правление, и потому, что просто нужно было *что-то говорить* (см. об этом более подробно раздел «Дискурс-реальность» первой части)[89].

Заимствование слов накладывало и накладывает существенные ограничения на публичный политический дискурс и, отчасти, даже публичную политическую деятельность (об этом также уже говорилось).

Позволю себе высказать несколько рискованную гипотезу: *хорошо структурированный дискурс* с древних времён характеризуется достаточно высокой степенью связности, уравновешенности, гармоничности и т. п. — потому я и называю его *хорошо структурированным*. Моральная жизнь — это жизнь, которая также может быть охарактеризована как своего рода гармония (китайские философы совершенно недвусмысленно на это указывают). Эти два момента позволяют предположить, что использование хорошо структурированного дискурса так или иначе предполагает использование риторики, по своей структуре, *духу* сходной с духом морального дискурса или моральной жизни. По крайней мере, на неком глубинном уровне здесь можно уловить определённый *гомоморфизм*. Использование хорошо структурированного дискурса (политического) почти с необходимостью рано или поздно приводит к вовлечению моральной проблематики, а сам такой дискурс окрашивается в тона, сходные с тонами морального дискурса, или, по крайней мере, настраивает на соответствующий лад (и тех, кто говорит, и тех, кто слушает).

Другими словами, использование хорошо структурированного дискурса в политических коммуникациях между «правителями» и «народом» само по себе навязывает и тем, и другим определённое «моральное видение» реальности — в независимости от их желания, устремлений, моральных норм и т. д., и таким образом формирует оценку политических событий, отношений и акторов в *моральных категориях* (или, по крайней мере, окрашивает такие события, отношения и акторов в тона, ассоциирующиеся с *моральным*).

Естественно, эта гипотеза нуждается в детализации и проверке.

Однако была и более веская причина распространения и, главное, *реализации* рациональных теорий устройства общества (теорий, частью которых было представление об идеальном правителе) — чем, например, стремление правителей легитимировать своё господство.

В независимости от *интенций* правителей, их моральных и прочих качеств, в обществе всегда существует *объективный запрос на рациональное управление*, то есть на то, что кто-то будет им управлять, будет организовывать его функционирование по определенным правилам с целью обеспечения хотя бы минимального блага для всех его членов[90]. Поскольку этого от

[89] Конечно, то, как именно происходило *заимствование слов*, как правители их трансформировали, подгоняли под себя, трудно описать в двух словах. Процесс этот, очевидно, был далёк от линейности. Более того, мои знания истории не позволяют мне претендовать даже на теоретическую возможность его подробного описания в ближайшем будущем. Поэтому я ограничился лишь представлением данной идеи. На сегодняшний момент её следует рассматривать как гипотезу. Гипотеза эта в большей мере основана на неком общем видении и логике, чем на знании истории. Возможно, более сведущие люди смогут найти ей и историческое обоснование.

[90] События, связанные с распадом СССР, дают хороший пример того, что такой спрос действительно существует (вспомним, хотя бы, отрицательное отношение народа к демонтажу союзных структур [Кара-Мурза 2009]), а также того, что правящая «элита» далеко не всегда стремится его удовлетворить. По сути, управление было навязано обществом тем квазигосударственным структурам, которые остались после распада Советского Союза. Причём даже по прошествии 20 лет эти структуры лишь в малой степени этот запрос удовлетворяют. Разговоры же про либеральное «минимальное государство» ведутся либо из лукавства, либо по недомыслию.

правителей ждут все, они, естественно, должны этим заниматься — в независимости от того, хотят они этого или нет[91].

По мере усложнения обществ управление ими требовало привлечения всё большего числа образованных людей. «В Европе профессиональное чиновничество, организованное на началах разделения труда, постепенно возникло в ходе полутысячелетнего развития. Начало его формированию положили итальянские города и сеньории, а среди монархий — государства норманнских завоевателей. Решающий шаг был сделан в управлении княжескими финансами. По управленческим реформам императора Макса можно видеть, с каким трудом даже под давлением крайней нужды и турецкого господства чиновникам удавалось экспроприировать [власть] князя в той сфере, которая меньше всего способна была терпеть произвол господина, всё ещё остававшегося прежде всего рыцарем. Развитие военной техники обусловило появление профессионального офицера, совершенствование судопроизводства — вышколенного юриста. В этих трёх областях профессиональное чиновничество одержало окончательную победу в развитых государствах в XVI в. Тем самым одновременно с возвышением княжеского абсолютизма над сословиями происходила постепенная передача княжеского самовластия (Selbstherrschaft) профессиональному чиновничеству, благодаря которому только и стала для князя возможной победа над сословиями» [Вебер 1990: 658.].

Особую роль сыграли юристы — слой, характерный для Запада, прежде всего для Европейского континента. «Ни в чём так ярко не проявилось впоследствии влияние римского права, преобразовавшего бюрократическое позднее римское государство, как именно в том, что революционизация политического предприятия как тенденция к рациональному государству повсюду имела носителем квалифицированного юриста, даже в Англии, хотя там крупные национальные корпорации юристов препятствовали рецепции римского права» [Там же: 664].

О том же пишет Х. Арендт: «…Интеллектуалы всегда были и остаются неотъемлемой частью общества, которому они как группа обязаны своим существованием и особым положением. В них нуждались все дореволюционные правительства в Европе XVIII века, все они пользовались их услугами для „возведения свода специального знания и установления процедур, без которых не могла обойтись всё более усиливающаяся деятельность правительства на всех уровнях, для процесса, призванного подчеркнуть эзотерический характер работы правительства“…» [Арендт 2011: 166].

Дело не в минимальном государстве, а в том, что те, от кого ждут выполнения определённых функций (ждут, ибо так предписывает определённая литература), эти функции выполнять не хотят. Другими словами, ожидания общества, сформированные в результате распространения определённых взглядов на государство, существенно расходятся с намерениями, мотивами и действиями тех, кто составляет «правящий класс» (именно правящий, а не управляющий). Кто-то, может быть, скажет, что описанное — не более чем просто патологический случай. Согласен, однако этот случай служит доказательством действительного существования тех компонент, о которых речь шла выше.

Другой, более хрестоматийный исторический пример, подтверждающий существование запроса на рациональное управление (а также демонстрирующий, к чему приводит отсутствие реакции на такой запрос со стороны правящего класса) содержится в «Старом порядке и революции» А. Токвилля. Речь, очевидно, идёт о французской аристократии, которая, сохранив свои привилегии, практически устранилась от управления государством. В сходную ситуацию, по мнению Х. Арендт, попали евреи в конце 19 – начале 20 вв. [Арендт 1996].

Наконец, случай из русской революции 1917 г.: «Демонстранты окружили Таврический дворец, где размещался ВЦИК, требуя взятия власти Советами. Группа разъярённых матросов окружила эсера В.М. Чернова. Один из них, тряся его за лацканы пиджака, кричал: „Бери власть, сволочь, коль дают!“» [Рудник и др. 2009: 201].

[91] «Власть оформилась, укоренилась в привычках и верованиях, развила свой аппарат и умножила свои средства, поскольку сумела обратить на пользу себе существующие условия. Однако обратить их себе на пользу она смогла, только служа обществу. Она всегда ищет лишь собственного могущества; но путь к могуществу пролегает через служение» [Жувенель 2011: 159].

Однако образование подразумевало знакомство с произведениями философов — получение образования во многом и состояло в чтении их, философов, произведений. Теории же, содержавшиеся в этих произведениях, главной целью существования государства постулировали не удовлетворение прихотей правителя, а некое *общее благо*, сами же правители рассматривались, как уже говорилось, скорее как управляющие, «менеджеры», чем собственно правители.

Благодаря этим образованным людям, привлекаемым для организации управления государством, риторика, характерная для философских произведений социально-политической направленности, всё больше проникала в политический дискурс. Моральная проблематика, ранее характерная только (или преимущественно) для произведений философов, стала его, политического дискурса, главенствующей проблематикой.

«„Машинное отделение“, созданное монархией, только и делало, что совершенствовалось: его материальные и *моральные* (выделено мной — А.Ш.) рычаги постепенно стали способными проникать всё более глубоко в общество и добывать оттуда средства и людей» [Жувенель 2011: 34].

Поскольку развитый положительный дискурс о правителях теперь мог быть только такой, в соответствии с которым правитель — это рациональный управляющий, мыслить в других терминах, порождать другой, но столь же хорошо структурированный положительный дискурс, можно было лишь с большим трудом — если вообще возможно.

Таким образом, ни у кого не было — и до сих пор нет — теории (в широком понимании этого слова), которая бы позволяла мыслить о принципиальной, сущностной безнравственности правителей столь же последовательно, как о том, что правители должны быть нравственными, рациональными управляющими. То есть множество фактов, вроде бы свидетельствующих о том, что власть имущие склонны нарушать самые элементарные моральные нормы, остаются невключенными в некий развитый комплекс идей и выглядят как некие пусть и многочисленные, но *случайные* аберрации (ср. с тем, что говорилось в разделе «Теория-реальность» первой части о том, почему люди так долго могут терпеть явную ложь).

Позволю себе высказать следующее предположение. Время публичной политической жизни большинства власть предержащих, как правило, не превышает того времени, которое необходимо для того, чтобы люди, так или иначе следящие за его жизнью, могли составить себе своё собственное о нём мнение, мнение, хотя бы частично свободное от порождаемого этим деятелем дискурса.

Следует отметить, что трудности построения положительной теории аморальности правящих во многом связаны с тем, что аморальность сама по себе есть нечто отрицательное, *отсутствие* (вспомнить Бл. Августина с его *теодицей*).

Наконец, приведу ещё одну цитату из Б. Жувенеля, цитату, которая, возможно, лучше всего резюмирует рассуждения этого, да, возможно, и предыдущих, пунктов.

«Стремящийся к простоте, которую он тщетно ищет в природе, человеческий ум никогда не умел убедить себя, что двойственность составляет суть Власти.

Начиная с возвышенных фантазий Платона (унаследованных в свою очередь от более древних утопий), мы неутомимо ищем правительство, которое было бы хорошим во всех отношениях и всегда и во всех случаях руководствовалось бы только интересами или желаниями управляемых.

Эта иллюзия мыслящих людей помешала созданию настоящей политической науки, а спустившись в народ, стала — с тех пор как он располагает Властью — действенной причиной великих потрясений, которые омрачают наше время и ставят под угрозу само существование цивилизации» [Там же: 174].

6.5. Почему общества управляются плохо

Итак, мотивы большинства тех, кто попадает во власть, могут быть иррациональными, ничего общего с желанием управлять обществом не имеющими. То есть для них собственно управление — это просто некий досадный довесок к основной (для них) «деятельности». Соответственно, усилия их направлены в первую очередь не на то, чтобы овладеть искусством (или наукой — как кому нравится) управления обществом, а на совершенно иные цели. И именно поэтому собственно в искусстве управления они далеко не лучшие. То есть если у них и получается дорваться до власти, то они *управляют плохо*. А если ещё учесть, что им всё время необходимо бороться с другими такими же рвущимися к власти, то ситуация вообще становится очень неприглядной. По сути, речь идёт о почти полном коллапсе управления[92]. Что мы, кстати, часто можем наблюдать. Причём не только на примере стран постсоветского пространства или стран Латинской Америки, но и *вообще всех стран*. То есть постоянно случающиеся кризисы управления — это не случайность, а закономерность, причём самая что ни на есть фундаментальная.

Хотя структура властной пирамиды, логические связи внутри неё построены в соответствии с законами рационального управления и для рационального управления (обществом, государством и т. д.), наполнение «человеческим материалом» этой пирамиды очень часто осуществляется в соответствие с совсем другими законами, а именно законами борьбы за власть[93].

Конечно, побуждаемые объективными обстоятельствами (обществом надо управлять) и ожиданиями общества (обусловленными в том числе и широким распространением теорий идеального общества и государства) пришедшие к власти люди рано или поздно в какой-то мере приобретают необходимые навыки — хотя бы потому, что вращаются в среде, которая этому очень благоприятствует (и к этому понуждает), однако в гораздо меньшей степени, чем это действительно необходимо и без всякого желания и энтузиазма[94]. Поэтому-то они и не

---

[92] «…Почему некоторые современные общества являются столь неуправляемыми? Другими словами, почему государство в некоторых странах не управляет своим обществом и не контролирует их так, как это удавалось ему в прошлом?» [Олсон 2012: 23]. От себя добавлю, что то, что М. Олсон заключает по отношению лишь к некоторым государствам, и лишь в некоторый исторический момент времени, на самом деле, по моему мнению, является общим правилом. Просто иногда *привычно плохая* ситуация — которая, как раз благодаря своей привычности ощущается как *нормальная* — становится совсем невыносимой. О чрезвычайной неэффективности государственного управления см. также: Хилсмэн 1957: 80–81; Smith 1988.

[93] Кто-то мог бы возразить по поводу только что сказанного, что довольно часто те или иные должности в управляющей пирамиде создаются под конкретного человека, под проведение операций по выведению того или иного «неудобного» деятеля из политической игры и т. п. Не могу не согласиться. Однако следует, вероятно, заключить, что большинство таких манипуляций носят точечный характер и существенно не меняют в целом рациональной структуры пирамиды.

Рациональность структуры пирамиды, вероятно, увеличивается в критические моменты, при разрушении же государственных институтов, как, например, сегодня на Украине, механизмы борьбы за власть начинают превалировать и степень рациональности при построении пирамиды уменьшается.

Также можно предположить, что разрушение государственных институтов позволяет увидеть действие многих механизмов построения и функционирования государства в неприкрытом виде. В том числе и тех механизмов, которые характерны для более-менее «здорового» государства. На ум приходит аналогия с психологическими заболеваниями: изучение патологий позволяет изучить механизмы нормы.

[94] «…Представление об элите как о группе выдающихся личностей не всегда является только лишь идеологической формулой особо привилегированных классов или контридеологической формулой социально обойдённых классов. Оно часто соответствует действительности: будучи хозяевами своей жизни и обладая особыми привилегиями, многие лица из высшего слоя общества *действительно обретают со временем душевные качества, приближающиеся к тем, носителями которых они себя объявляют* (выделено мной — А.Ш.)» [Миллс 1959: 156].

способны, как я уже говорил, управлять действительно эффективно, и сами часто рассматривают свою управленческую (то есть организующую и направляющую) деятельность как досадную необходимость, как нечто, отвлекающее от их основной деятельности, в действительности доставляющей им наибольшее удовольствие — помыкать, командовать, унижать подчинённых и т. п.

Учитывая всё вышесказанное, можно по-новому посмотреть на многих государственных мужей, которых до сих пор превозносят как великих организаторов, государственных строителей и проч., и проч. Да, вероятно, для той среды, в которой они жили и боролись за власть, они были не очень плохи как «менеджеры» — рациональные менеджеры — однако с объективной точки зрения, то есть с точки зрения блага общества, эффективности управления им, они в лучшем случае были всего лишь очень и очень посредственным вариантом.

Сказанное позволяет понять феномен *перегруженности* власть предержащих, их полную захваченность отправлением своих обязанностей (вспомним хотя бы путинского «раба на галерах»): если бы людям, находящимся у власти, не нужно было всё время сочетать как минимум *две совершенно разные* деятельности (одна из них — рациональное управление, вторая — борьба за власть, порождённая иррациональной частью их «природы»), то, возможно, обычного 8-ми часового рабочего дня им бы вполне хватало для того, чтобы полностью удовлетворить запрос общества на качественное управление.

Следует отметить ещё несколько моментов. За последние 300–400 лет (начиная с Нового времени) процессы рационализации представлений о правителе, его функциях, функциях государства особенно интенсифицировались. Вероятно, вследствие развития книгопечатания. Крайний случай теоретического воплощения такой рационализации — теория технократического управления [Кокошин 2008; Миронов 2009; Stabile 1986]. Однако данная теория, хотя и безусловно очень влиятельная и сыгравшая немалую роль в действительной рационализации институтов управления и самих управляющих, на самом деле не может служить основанием для отрицания того момента, что властные структуры наполняются именно в соответствии с принципами борьбы за власть, а не посредством рационального отбора.

Следующее замечание вытекает из предыдущего и касается того очевидного факта, что степень рационализации управления обществом с каждым столетием неуклонно повышается. Действительно, управление обществом требует всё большей и большей рациональности индивидов, участвующих в этом процессе, повышения уровня их образованности. Однако это вовсе не отрицает наличия у людей, стремящихся к власти, иррациональных мотивов, их *превалирования* над рациональными. Это также не отрицает возможность сочетания иррациональных целей и рациональных путей их достижения[95].

Данный вопрос следует рассматривать в связи с общим повышением уровня образованности обществ: формы проявления иррациональности стали более завуалированными, часто подавленными рационализмом (но, естественно, никуда не девшимися). Хотя методы борьбы за власть, способы продвижения по властной лестнице в какой-то степени изменились, стали более «приличными», более «цивилизованными», однако компонент иррациональности и, попросту говоря, банальной подлости в них остался, вероятно, таким же, как и сотни лет назад.

Примерно то же самое касается роли демократии, точнее, демократических процедур и контроля над властью, с которыми уже не первое столетие связывают надежды по рационализации управления.

Действительно, демократизация и рационализация[96] процесса управления предъявляют дополнительные требования к тем, кто стремится к власти, накладывают на них дополни-

[95] Вспомним анализ психологии А. Эйхмана в Арендт 2008, вообще, фашизм и нацизм.

[96] То, что «…Токвиль назвал „провиденциальным процессом“: логика рационализации и демократизации». [Салмин 2009: 235].

тельные ограничения, можно сказать, дополнительно *отягощает их выполнением полезных для общества функций*. В результате чего они, безусловно, становятся более подготовленными для его, общества, управления. Однако ни демократизация, ни рационализация вовсе не лишают их иррациональных мотивов, заставляющих их стремиться к власти. Да, возможно современные правители в чём-то рациональнее правителей, живших сто, двести и больше лет назад, даже в чём-то эффективнее. Однако они *не самые* эффективные *управители* для *своего* времени. И в этом плане ситуация, похоже, также не сильно изменилась за последние 100, 200 или даже 1000 лет[97].

Ещё один важный момент. Из того, что политики управляют обществами плохо, вовсе не следует тот вывод, будто им можно управлять лучше (например, при том условии, что к власти пришли бы «порядочные», «ответственные» и т. п., то есть «моральные» люди). Структура общества такова, что управлять всегда будут в моральном отношении если не худшие, то далеко не лучшие — в независимости от наших желаний или понимания.

И в продолжение того, что было сказано в предыдущем пункте по поводу попустительства аморальности власть имущих со стороны общества. Дополнительную защиту от справедливого возмездия со стороны общества аморальные правители получают именно благодаря своей включенности в рационально выстроенную систему управления, тому, что они являются частью этой системы, апеллируют к тому, что выполняют важные *рациональные* функции. Убрать такого правителя означает нарушить нормальное функционирование того или иного института. По сути, сама рациональность системы управления обществом, то, что каждый её элемент связан с другими, то, что все эти элементы взаимозависимы, защищает аморального правителя. Это, так сказать, *побочный эффект* её, системы, функционирования (и рациональности).

6.6. О возможности поглощения аморального патологическим

Для максимального охвата всех возможных случаев хочу ещё раз вернуться к проблеме соотношения аморального и *психологического патологического* и рассмотреть возможность полного *вытеснения* понятия «аморальное» понятием «патологическое».

В этом случае, очевидно, речь будет идти о том, что обществом управляют люди с определенным психологическим расстройством, дефектом, в частности проявляющемся в поведении, которое традиционно считается аморальным. Другими словами, в этом случае аморальность перестаёт быть самостоятельным понятием, сущностью, то есть теряет свою субстанциональность и полностью поглощается (во всех смыслах) понятием «патологическое». Формально ситуация не меняется, однако пропадает её оценочная нагруженность. Область морального полностью поглощается областью психологического.

По поводу только что сказанного необходимо сделать следующее уточнение. Если наше предположение о возможности поглощения аморального патологическим справедливо (хотя бы для области политического), то патологично не обязательно само стремление к власти, патологичны индивиды (если такое словосочетание уместно), её в конце концов добивающиеся. Под патологичными индивидами я понимаю индивидов, имеющих психологические патологии, побуждающие их к власти стремиться.

---

[97] Сама теория демократии служит лучшим доказательством того, что правят худшие: не будь это так, не были бы нужны все те меры, которые служат для уменьшения причиняемого ими, правящими, вреда. Если бы естественные общественные силы выносили наверх «лучших», или, по-другому, процесс «вознесения» лучших был бы естественным, то в принципе не возникла бы проблема необходимости создания препон на пути возможной зловредности правящих. Да, наверное, и идея о том, что править должны лучшие также не возникла бы.

Описанная только что возможность является *чисто логической*. Однако существуют ли какие-либо доказательства того, что аморальное *действительно* может быть поглощено патологическим (случай, когда аморальное становится просто *предрассудком*, мы не рассматриваем)?

Думаю, некоторые основания так утверждать у нас есть. Вот некоторые из них.

1) В Западной Европе безумие первоначально ассоциировалось с грехом, то есть так или иначе находилось в сфере религиозных верований и лишь в классическую эпоху постепенно стало считаться болезнью[98].

2) Аморальное также первоначально находилось в сфере, охватываемой религией. Постепенно, начиная, вероятно, с З. Фрейда, и параллельно с процессом секуляризации, аморальное стало всё чаще и чаще рассматриваться с точки зрения психологической патологии.

3) Сфера психологической патологии со временем расширяется[99]. Патологическую компоненту находят во всё большем числе человеческих поступков, мотивов поведения. Более того, можно, наверное, уже утверждать, что такая составляющая в той или иной мере есть в *любом* мотиве. Вопрос, таким образом, состоит в том, чтобы определить, *какова эта мера*.

Эти три положения позволяют сделать следующие выводы.

Следует ожидать расширения сферы психологического патологического, в том числе и на политическую сферу. Это расширение будет становиться всё более *легитимным*, обыденным, рутинным. Следствием данного процесса будет распространение представлений о политическом (политическом как прежде всего относящемся к власти и борьбе за неё) как в большей мере патологическом, чем аморальном. Однако с учётом первого положения мы сейчас можем пойти дальше и предположить, что через какое-то время представление о психологическом патологическом в свою очередь начнёт исчезать и вместо него родится нечто иное (наподобие того, как, согласно М. Фуко, в классическую эпоху родилось представление о безумии). Боюсь показаться слишком забегающим вперёд, однако, как мне кажется, это *уже начинает происходить*…

Пока что трудно дать сколько-нибудь положительные характеристики этого нового *феномена*. Могу лишь к сказанному добавить, что поскольку в древних культурах и на Востоке одержимые рассматривались как отмеченные высшими силами (то есть, опять же, безумие первоначально имело отношение к религиозным верованиям), а европейский взгляд на человеческую психологию сегодня широко распространился и принят в той или иной форме большинством образованных людей, данные выводы можно так или иначе экстраполировать почти на всё человечество.

Один из выводов из того, что было сказано выше, состоит в том, что по мере развития общества на людей, стремящихся к власти, будут смотреть всё более и более косо, так сказать, из *чисто гигиенических соображений*.

6.7. Вместо послесловия

Последний пункт является завершающей частью *позитивной* теории. Всё, что я буду говорить в дальнейшем — это либо следствия из неё, либо ответ на возможную критику, либо последствия её появления для *других* теорий.

Начну с последнего. Мой ответ прозвучит несколько неожиданно, однако, как мне кажется, последствия эти не особенно значительны. Я считаю, что изложенные мной взгляды не требуют сколько-нибудь существенной коррекции оснований существующих теорий. То, что было сказано выше, просто даёт повод ввести ещё один параметр в такие теории, ещё

[98] Как установил М. Фуко в Фуко 2010.

[99] Начиная, вероятно, с «Психопатологии обыденной жизни» того же З. Фрейда [Фрейд 1990].

одно *измерение*. Возможно, это связано с всё той же малой плотностью теоретического покрытия некоторого множества фактов: появление ещё одной теории априори не может повлечь за собой особых изменений в теориях уже существующих.

Например, теория демократии уже предполагает, что государственные должности могут занять люди не самых высоких моральных достоинств и потому предлагает выстраивать общественные институты таким образом, чтобы вред от таких людей был наименьшим. Или разрабатывает такие процедуры занятия государственных должностей, которые бы «выносили» наверх лучших. Другое дело, конечно, насколько эти институты и процедуры достаточны, насколько эффективно они работают. В свою очередь, это зависит от того, насколько плотно сама теория демократии покрывает множество релевантных фактов.

Тем не менее, теория демократии вполне может быть дополнена (или, лучше сказать, *усилена*) в соответствии с выводами представленной в этом приложении концепции.

Другой пример — политический реализм. Что правда, в случае этого последнего возможна более существенная корректировка.

Как известно, одна из основополагающих идей этого теоретического направления состоит в том, что политическая сфера имеет свою особую мораль, отличную от морали приватной сферы (несколько иной вариант: политическая сфера объективно требует нарушения норм морали приватной сферы)[100]. То есть политическая сфера *вынуждает* людей, в неё попавших, совершать аморальные поступки. Некоторые теории, относимые к политическому реализму, дополняют эти положениями следующим: политики *должны* быть аморальными (в сфере политики), поскольку только так данное общество (государство) сможет выжить[101]. То есть имеет смысл говорить о *дескриптивном* и *нормативном* политическом реализме[102]. Самый известный пример нормативного политического реализма, очевидно, представляют труды Н. Макиавелли.

Так как же должен быть скорректирован политический реализм?

Очевидно, что политический реализм более или менее явно предполагает, что люди, попадающие в политику, либо 1) изначально ничем не хуже «всех остальных», и совершают аморальные поступки в силу, так сказать, «условий работы», либо 2) даже если они аморальны изначально, функции, выполняемые ими, настолько важны, что им можно и нужно «простить» некоторую долю аморальности.

Разберёмся сначала с первым утверждением.

Итак, даже если предположить, что потенциально большинство политиков мало чем отличаются в плане моральности от всех остальных, это вовсе не значит, что и политики, и «все остальные» в течение жизни ведут себя равно аморально. Мало быть потенциально способным на аморальный поступок или допускать возможность его совершения — нужно его действительно совершить. Для того чтобы системно совершать аморальные поступки, необходимо более-менее постоянно оказываться в условиях, побуждающих (по крайней мере, благо-

---

[100] «[Неправомерно утверждать, что] политика по определению безнравственна: здесь просто другие критерии нравственности. Мерилом нравственности в политике выступает соответствие национально-государственным интересам: курс, отвечающий интересам данной страны, квалифицируется как нравственная политика, а противоречащий — как аморальная» [Гаман-Голутвина 2005: 166]. Или «Реалисты… настаивают, что политическая мораль — это не то же самое, что индивидуальная мораль и часто может противоречить ей» [Galston 2010: 392]. Вообще же, для того чтобы действительно понять, что такое политический реализм в действии, книги лучшей, чем «Хроники» Ж. Фруассара не найти [Фруассар 2009].

[101] См, например: Galston 2010; Geuss 2009; Hollis 1982; Honig 1993; Nagel 1979; Owens 2008; Philp 2007; Public… 1978; Sunstein 1996; Walzer 1973; Williams 2005.

[102] Эта идея была высказана мной во время летней школы «Религия и реализм в политической мысли — история и последние события», проходившей в Центральноевропейском университете (Будапешт, 15–26 июля 2013 г.)

приятствующих) их совершать. Политическая же деятельность по самой своей природе, если верить многим политологам и философам, является наиболее «благоприятной» для совершения аморальных поступков (хотя что значит фраза «по самой своей природе», ещё стоит выяснить, поскольку политика — это не просто деятельность сама по себе, её всегда осуществляют конкретные люди).

Стремление к власти, точнее, реализация такого стремления, нарушает нормальное течение жизни, отвлекает человека от созидательной деятельности, семейной жизни, работы и проч. Для того чтобы человек решился на реализацию такого стремления, он должен быть серьёзно к этому мотивирован. Мотивы могут быть разными. Однако они в любом случае должны быть достаточно сильны, чтобы снова и снова побуждать человека к совершению определённых поступков (которые, как он надеется, позволят ему рано или поздно получить власть). В результате он вступает в такие взаимодействия и попадает в такую среду, которые в максимальной степени побуждают его совершать аморальные поступки (см. выше).

Если человек достаточно «морально устойчив», достаточно рационален (то есть движим рациональными мотивами и способен здраво оценить ситуацию в терминах «затраты-выгоды») и если у него есть более-менее приемлемый выбор, он, скорее всего, оставит борьбу за власть в том случае, если аморальность этой борьбы превысит некое пороговое значение. Можно предположить, что это случится ещё на ранних её стадиях.

Если же человек изначально в значительной степени побуждаем иррациональными мотивами (то есть рациональные мотивы если и присутствуют, то в достаточно слабой степени), он, скорее всего, будет продолжать борьбу и дальше. То есть он будет продолжать попадать в ситуации, при которых ему придётся снова и снова совершать аморальные поступки.

Иррациональность мотивов указывает на наличие у человека определённых психологических проблем, комплексов и т. п. Именно эти комплексы дают ему *энергию* и побуждают снова и снова, несмотря ни на что, продолжать борьбу.

Можно с достаточной долей уверенности предположить, что если ситуация далека от критической, то рационально мотивированный человек скорее уступит в борьбе за власть, чем мотивированный иррационально (см. об этом выше)[103].

Таким образом, даже если предположить, что изначально политики и не «хуже» всех остальных, политическая деятельность, привлекающая их во многом по иррациональным мотивам, предоставляет им куда больше шансов для совершения аморальных поступков, чем большинство иных видов деятельности. То есть в конечном итоге они оказываются куда более аморальными, чем большинство остальных (при этом, естественно, не следует забывать о связи иррационального стремления к власти с аморальностью).

Можно предполагать, что в случае сокращения ресурсов, в поведении всё большего числа людей будут проявляться, так сказать, политические черты. Однако появление таких черт будет результатом необходимости, то есть политическое поведение будет у них *реактивным*. Большинство же политиков, и вообще людей, стремящихся к власти, демонстрируют такое поведение как *активное*, так сказать, *самодеятельное*. То есть либо их запросы изначально куда больше, чем у большинства людей (тогда возникает вопрос, почему это так), либо они воспринимают некую для других вполне нейтральную в политическом отношении, то есть *неполитическую* ситуацию как политическую (опять вопрос, почему?).

[103] Человек, борющийся за власть по рациональным мотивам и уступающий место в конце концов тем, кто борется по мотивам иррациональным, помимо прочего может это сделать потому, что уверен (или просто предполагает), что эта его уступка кардинально не повлияет на ситуацию с властью, что, возможно, его уступка — суть всего лишь отдельный случай и т. д.

Рискну снова привести аналогию с душевнобольными или просто с людьми с психологическими проблемами: и те, и другие характеризуются в первую очередь преувеличенными реакциями на вещи, события и проч., которые большинство людей считают обычными.

Обратимся теперь ко второму утверждению. Однако предварительно проанализируем понятие *функции* как оно употребляется в социальных науках.

Функции следует разделить на *приписываемые* и *предписываемые*. Приписанная функция — это функция, которую «находят» в некотором существующем объекте (например, функция дерева — производить кислород, функция политики — урегулировать социальные противоречия). Предписанная функция — это функция, выполнение которой определяется или навязывается некоторому объекту (создаваемому или уже существующему)[104]. В случае общества таким объектом может быть институт или социальная группа.

Необходимо отметить, что у тех, кто предписывает функцию, должна быть возможность добиться, чтобы данный институт или группа её выполняли (например, если пожарникам предписывается функция тушить пожар, у общества должны быть механизмы принудить их его тушить). В случае предписанной функции функция, как правило, предшествует институту, в случае приписанной — наоборот. Предписываемая функция — суть то, что определяет само существование института, выполнение данной функции — это главное, для чего институт создавался. Без выполнения этой функции само существование института оказывается под вопросом. В случае приписываемой функции важность её для данного института всегда является определённой неточно, по поводу неё в любой момент могут возникнуть разногласия — вплоть до того, что она может объявляться такой, без выполнения которой институт вполне может существовать.

Приписывание функции чаще всего является результатом попытки постигнуть сущность, природу некоего объекта. Более того, чаще всего описание природы объекта есть не что иное, как описание основных его функций (вкупе с его структурой). Также приписывание функции может осуществляться с целью *оправдания* существование некоторого института или социальной группы.

Таким образом, резюмируя, можно утверждать, что различие между приписываемой и предписываемой функциями определяется прежде всего тем, что первая принадлежит области *дескриптивного*, а вторая — *нормативного*.

Любая социально-политическая теория содержит неискоренимый нормативный компонент. То есть для таких теорий характерно то, что практически ни одна их часть не является чисто описательной или, точнее, любому объекту, описываемому в подобных теориях, всегда также что-то и предписывается. По большому счёту, в этом нет ничего страшного, главное, чтобы это делалось сознательно, явно, чтобы не происходило *передёргиваний* — когда нормативный компонент подаётся как дескриптивный и наоборот. Если речь идёт о функциях, то важно, чтобы приписываемая функция не выдавалась за предписываемую, а предписываемая — за приписываемую. Однако именно последним, как кажется, грешат многие политические теории (в том числе и относимые к политическому реализму).

Действительно, часто утверждается, что функции политики — это урегулирование межгрупповых конфликтов или представительство интересов социальных классов, слоёв, групп и т. п. То есть подобные функции являются приписываемыми, через них, посредством них описывается природа политики. Что правда, поскольку эти функции являются приписанными, мы далеко не всегда можем сказать, насколько они важны, насколько они исчерпывают природу политики. Также непонятно, как сами политики смотрят на её выполнение, насколько, например, мастерство в улаживании конфликтов способствует их продвижению по карьерной

[104] Хотя есть мнение, что «вещь может обладать функцией только в том случае, если она служит и создана для того, чтобы служить некоей внешней цели» [Алексеева 2000: 63].

лестнице и т. д. Однако все эти трудности — это, так сказать, *нормальные* трудности, присущие научному процессу. Они свойственны любой науке. Если бы те, кто пишет про функции политики, на этом бы и остановились (то есть на рассмотрении их как приписываемых), то всё было бы в порядке. Однако они, как правило, идут дальше и по какой-то мне не до конца понятной причине начинают обращаться с ними как с *предписываемыми*. И политикам уже *предписывается* улаживать конфликты, представлять интересы и т. д., и т. п. То есть теория из дескриптивной вдруг превращается в нормативную. Благодаря такому превращению, те функции, которые при других обстоятельствах могли бы рассматриваться как спорные или неопределённые по своему весу, вдруг становятся основными, сущностными, такими, без которых ни политика, ни политики не были бы тем, чем они являются. При этом, естественно, забывается, что политика и политики не были созданы намеренно (как создаются, например, пожарная команда или милиция), а возникли стихийно, без чьего-либо замысла. Также остаётся без вразумительного ответа вопрос, а есть ли у кого-то возможность *принудить* политиков выполнять функции, вдруг ставшие предписанными? Если да, то у кого и в какой мере? Хотят ли они это делать и стоит ли?

Хочу ещё раз акцентировать внимание на следующем моменте. В нормативности как таковой нет ничего плохого. Как я уже говорил, она, нормативность, вмонтирована в структуру социальных наук и её элиминация, скорее всего, повлечёт за собой разрушение всего их здания. Однако при этом нельзя злоупотреблять нормативностью, привнося её туда, где без неё можно и нужно обойтись. Ситуация с этим выглядит так: мало того, что предпосылки социальных наук содержат некие нормативные предположения (то есть нормативность всегда так или иначе присутствует даже в дескриптивных утверждениях), так мы ещё и эти дескриптивные положения повторно, так сказать, сознательно нагружаем нормативностью.

Иногда возникает такое чувство, будто те, кто проворачивают такую «операцию», делают это для того, чтобы упростить ситуацию или придать своей теории законченный вид. Так сказать, ради спокойной жизни обрывают ту нить, которую ещё разматывать и разматывать[105]. Возможно, это в большей мере связано с психологическими особенностями тех, кто создаёт такие теории (например, со стремлением к рационализации, то есть стремлением рассматривать как преимущественно рациональное то, что таковым не является), чем с объективными трудностями.

Итак, политические реалисты[106] находят в реальности множество фактов, свидетельствующих о том, что власть имущие регулярно нарушают нормы морали. При этом они видят, что политики выполняют некоторые полезные для общества функции (полезные с точки зрения некой нормативной модели общества — вновь про неискоренимость нормативности). Все эти функции, очевидно, поначалу являются приписанными. Однако, вследствие той инверсии, которая была описана выше, эти функции в некоторый момент переопределяются как предписанные. То есть политикам предписывается улаживать конфликты, представлять интересы различных социальных групп и т. д. Благодаря этой операции данные функции становятся основными функциями, выполняемыми «политическим классом», причём всё остальное общество начинает рассматриваться как неспособное само себя защитить, организовать собственное функционирование и т. д. Первоначальная дескриптивная теория, вполне, кстати, жизнеспособная и адекватная, становится таким образом нормативной.

Каковы следствия подобной инверсии, прежде всего, в отношении рассматриваемой в этом приложении проблематики? Поскольку основными функциями политики объявляются те, которые были только что упомянуты, и поскольку выполнение их действительно часто со-

[105] Ситуация, аналогичная той, когда необходимость ушей видят в том, что за них можно зацепить дужки очков.

[106] Речь идёт, очевидно, о *нормативном* политическом реализме.

провождается проявлениями насилия, хитрости, подлости и т. д., насилие, хитрость, подлость и т. д. начинают рассматриваться как печальные, но необходимые *средства* для реализации этих важнейших функций. То есть как то, с чем следует смириться. Соответственно, и политики начинают рассматриваться как люди, лишь в силу необходимости прибегающие к таким средствам, то есть как своего рода *жертвы обстоятельств*. При этом вопрос об изначальной моральности (или аморальности) политиков отходит на второй план.

Однако что будет, если не перескакивать от дескриптивности к нормативности или, точнее, не навешивать на уже содержащие момент нормативности построения дополнительную нормативность? Прежде всего, выполняемые политиками функции останутся спорными по своему весу, важность той или иной функции либо можно будет поставить под сомнение, либо она просто будет варьироваться в зависимости от обстоятельств. Соответственно, действия, сопровождающие выполнение этой функции, также станут такими, вес, значимость которых сможет меняться. Причём меняться вплоть до того, что *из средств они смогут превращаться в цель*. Другими словами подлость, насилие, ложь и т. д. смогут перейти из разряда средств политики в её сущностные, первейшие характеристики, сущностные, первейшие характеристики политиков. Ясно, что в этом последнем случае найти моральное оправдание политики и политиков будет значительно сложнее. Что же касается вопроса об изначальных душевных качествах людей, попадающих в политику и влиянии их психологических и проч. особенностей на характер политической сферы, то из разряда второстепенных он переходит в разряд первостепенных. Другими словами, речь в этом случае следует вести не о том, как политическая сфера вынуждает людей, в неё попавших, совершать аморальные поступки, а о том, что политическая сфера сущностно аморальна в значительной мере благодаря тому «человеческому материалу», который её наполняет[107].

Позволю себе высказать своё личное мнение по поводу проделываемых политическими реалистами инверсий. Я полагаю, что в значительной степени они, эти инверсии, являются следствием стремления представить ситуацию с моралью власть предержащих лучше, чем она есть на самом деле, поскольку, как я говорил в самом начале этого приложения, признание того, что все мы живём под властью людей глубоко аморальных, является слишком травмирующим и порождает сильный психологический дискомфорт[108].

В конце укажу некоторые «проблемные» моменты в приведённых выше построениях.

Прежде всего, необходимо сказать, что я отдаю себе отчёт в том, что и сама проблема, и некоторые важные положения, основополагающие для полученных мной выводов, являются достаточно рискованными и недостаточно аргументированными. Однако всё это, как уже говорилось — лишь следствие катастрофической нехватка теории. Без определённой доли научного авантюризма сегодня, пожалуй, не обойтись.

Что касается конкретных проблемных положений, то вот основные из них.

1. Предположение, что аморальность является коррелятом «психологического дефекта», хотя во многом и следует из психологических теорий (например, фрейдовской), на мой взгляд, нуждается в дальнейшей проверке и более глубоком (в том числе, философском) обосновании.

---

[107] Цитата явно по другому поводу, однако довольно точно передающая *дух* моих рассуждений: «В России, как и повсюду в мире, государство и правительство представлялось народным массам элементом необходимым, естественным, возникшим в истории раз и навсегда. Люди даже не задавались вопросом, являются ли Государство, Правительство… „нормальными“, полезными, приемлемыми институтами. Это просто не приходило им в голову. И если кто-нибудь задавал такой вопрос, то встречал непонимание — и на этом всё заканчивалось» [Волин 2005: 243].

[108] Другой способ — объявить и политиков, и «всех остальных» *равно аморальными* [Bellamy 2010].

2. Предположение, в значительной степени вытекающее из предыдущего: переход от моральности к аморальности носит скачкообразный характер.

3. Обязательность связи иррационального стремления к власти и аморальности. Несмотря на то, что я привёл некоторые аргументы в пользу существования и, главное, обязательности такой связи, эти аргументы ни в коей мере не могут рассматриваться как достаточные. Вопрос об этой связи нуждается в куда более обстоятельном рассмотрении.

И, вспоминая то, что было сказано во втором разделе первой части работы по поводу параллельности, независимости изменений реальности и теории. Проблема аморальности политиков, восприятие их аморальности как проблемы во многом обусловлена распространённостью тех теорий, в соответствии с которыми править должны лучшие, а не худшие, теорий, в соответствии с которыми дело политиков — «управление», «разрешение конфликтов» и проч., и проч. При этом ожидание от правителей моральности, требование от них соответствия некоторым моральным критериям (в соответствии с теорией) вовсе не означает, что того же требует от них реальность, что реальности есть дело до морали правящих, что реальность меняется *в направлении* их большей моральности.

Государства никогда не создавались для того, чтобы обеспечить максимальное счастье для максимального числа людей (и не создаются), однако вера в то, что именно для этого государства существует, продолжает жить и определять то, что люди *думают*. Правда на реальность государства, а также поведение людей эта вера влияет в гораздо меньшей мере, чем можно было бы предположить.

Заключение

В этом заключении я не только кратко сформулирую основные моменты работы, но и постараюсь сказать то, что не сказал в основном её тексте, но что сказать необходимо, и для понимания чего как раз и необходим был осуществленный выше анализ.

Главная проблема, анализу которой посвящена работа, в максимально сжатом виде может быть сформулирована так: как возможно, что несмотря на то, что политический дискурс довольно слабо (а иногда — вообще никак) не соответствует имеющемуся множеству политических фактов, государства, политические системы, тем не менее, могут удовлетворительно функционировать. Частный, но важнейший случай этой проблемы: как возможно, что дискурс, производимый политиком, часто очень слабо коррелирует с действиями этого политика. Например, политик может заявлять о своей приверженности демократическим ценностям, при этом постоянно и часто в течение длительного времени принимая решения, которые очевидным образом нарушают элементарные права граждан (как то право на свободу перемещения, свободное выражение собственных мыслей и проч.). Замечу, что именно так в данной работе понимается проблема *лжи политиков*.

Поскольку любой политический дискурс с необходимостью основывается на той или иной политической теории (так как любой политический дискурс всегда касается сложных объектов и отношений между этими объектами — государствами, партиями, классами и т. п.), можно подозревать, что и по отношению к теориям существует сходная проблема. Хотя, безусловно, не с необходимостью.

Действительно, как было показано в исследовании, между политической теорией и политическим дискурсом не существует прямой связи, политический дискурс не является непосредственным «продолжением» теории, её упрощённым вариантом. Степень сложности и развития дискурса далеко не всегда коррелирует со степенью сложности и развития теории. Теория и порождённый ею дискурс вполне могут изменяться достаточно независимо друг от

друга (то есть отношения между теорией и дискурсом наиболее адекватно описывается с помощью *метафоры порождения*).

То, что отношения между теорией и дискурсом действительно далеки от линейности и, так сказать, изоморфизма, хорошо видно, в частности, на примере *синдрома бедного дискурса*. О таком синдроме можно говорить тогда, когда для истолкования в политическом дискурсе фактов, которые могут (и должны) быть истолкованы в терминах более развитой теории, используются теории менее развитые. Или когда множество фактов, которые уже нашли толкование в той или иной теории, сознательно — или бессознательно — игнорируются при генерации политического дискурса. История Украины последних десятилетий даёт множество примеров бедного дискурса. Речь, прежде всего, идёт о *националистическом* дискурсе.

Хотя большинство националистических теорий давно утратили научную актуальность и ни в коем случае не могут быть достаточными для сколько-нибудь серьёзного толкования фактов современной политической, социальной и экономической жизни, именно эти теории, точнее, *слова*, концепты из этих теорий, чаще всего служили теми «кирпичиками», из которых строился украинский политический дискурс. Именно национализм задавал (и продолжает задавать!) основные темы, вокруг которых политический дискурс выстраивался. Важно отметить, что это касается не только политических партий типа «ВО Свобода», но и таких партий, как Коммунистическая партия Украины, Партия Регионов и т. п., то есть партий, которые трудно заподозрить в симпатиях к национализму. Некоторые причины такой ситуации были рассмотрены в работе.

Тем не менее, несмотря на только что сказанное, мы всё-таки можем утверждать, что проблема, которая была сформулирована выше, вполне может быть в значительной степени выведена (обусловлена, связана с) из проблемы *бедности* теории.

Действительно, многие авторитетные учёные сегодня констатируют слабость политической теории, её неспособность истолковать множество имеющихся фактов. О слабости теории также свидетельствует и часто констатируемая неспособность осуществлять достоверные политические прогнозы, малая степень доверия политическим аналитикам. Сюда же следует отнести тот факт, что между политическими теориями практически никогда не возникает настоящей конкуренции, анализ большинства политических процессов требует привлечения сразу нескольких теорий, а выстраивание фактов в виде причинно-следственных цепочек затруднено или вообще невозможно. Хотя, по большому счёту, утверждение о принципиальной, так сказать, *качественной* слабости политической теории носит достаточно субъективный характер. Поэтому в данном исследовании оно является гипотетическим.

Поскольку, как уже говорилось, политический дискурс всегда (почти всегда) *черпает слова* из политической теории (хотя, как также говорилось, это не означает, что дискурс — это что-то вроде упрощённого варианта теории), можно подозревать, что бедность дискурса в значительной степени (хотя, конечно, и не полностью) обусловлена слабостью теории.

В любом случае, даже если связь между этими двумя проблемами и не настолько непосредственная, как мне представляется, ничто не мешает нам рассматривать их *параллельно* — именно так, кстати, по факту это и делалось на протяжении значительной части работы. То есть решение одной проблемы так или иначе проводилось достаточно независимо от решения другой. Тем не менее, поскольку я всё-таки считаю, что одна проблема с другой неразрывно связана, более того, самое интересное проблемное поле формируется как раз в «пространстве» *между* этими проблемами, я видел свою главную цель в том, чтобы нарисовать общую картину взаимодействия теории, дискурса и реальности и через неё, эту картину, уже «высветить» решение обеих сформулированных проблем.

По поводу последнего компонента «триады» («реальности») может возникнуть возражение: почему не факты? Тем более что выше речь шла именно о фактах, а не о «реальности».

Действительно, и теория, и дискурс всегда говорят о фактах, толкуют факты. Если же речь где-то и заходит о реальности, то чаще всего под таковой также понимают совокупность фактов (либо ту, которой касается теория, либо ту, которую она не охватывает).

В работе я попытался обосновать этот момент указанием на некоторые чисто формальные основания, а также самой возможностью выстраивания теории, в которой в качестве третьего компонента выступает именно отличная от фактов реальность. Однако сейчас, после того, как такая система была выстроена и создан необходимый контекст, можно попытаться привести и более существенное основание. Вот оно.

Поскольку человек постоянно осознает *нехватку слов*, проистекающую, очевидно, из недостатка развитой теории, то есть значительную часть времени живёт в *невербализованном мире*, то есть мире, для которого у него *нет теории*, мире, который он не может описать (это, очевидно, может засвидетельствовать любой человек, основываясь на данных внутреннего опыта), и поскольку факты — это всегда нечто поименованное, то есть вербализованное, то можно предположить, что существует нечто, несводимое ни к теории, ни к фактам, ни к дискурсу (коль скоро всё это — *слова*). Само собой напрашивается предположение, что этот невербализованный мир и следует назвать реальностью. Дополнительное основание отделить реальность от фактов (и теории с дискурсом) — наличие *временной задержки* перед формулировкой факта. Если бы факты и реальность были одним и тем же, то такая задержка не существовала бы.

Я предложил характеризовать так понимаемую реальность по аналогии с Богом христианских философов или Непостижимым С. Франка.

Именно реальность служит «источником» фактов (в кавычках, поскольку это не более чем метафора).

Поскольку переход от реальности к теории (а также к дискурсу) происходит *скачкообразно*, и мы всегда чётко осознаем, что реальность — это не теория, а теория — не реальность (случай, когда теория *подменяет* собой реальность, я рассмотрел особо, и он не касается того, о чём сейчас идёт речь), я предложил зафиксировать наличие неустранимого *разрыва* между ними. По сходным основаниям я предложил постулировать наличие разрывов между фактами и теориями, фактами и реальностью, между одним фактом и другим фактом, между дискурсом и реальностью. Следует отметить, что элиминировать подобные разрывы удовлетворительным образом никому до сих пор не удавалось.

В этом вопросе я, очевидно, действовал в соответствии с той основной для данного исследования методологической установкой, согласно которой всегда следует принимать как основополагающее для дальнейших построений то утверждение, которое является наименее жёстким. Поскольку в данном случае для уверенности в непрерывности перехода от реальности к теории и т. п. нет достаточных оснований, я и решил постулировать отсутствие такой непрерывности. Этот выбор, естественно, не предполагает, будто подобное предположение является «более истинным», чем противоположное. Выстраиваемую подобным методом логическую цепочку (а, по сути, *теорию*) следует рассматривать как нечто вроде *наихудшего сценария*. Насколько он, этот метод, продуктивен, покажет будущее. Хочу лишь ещё заметить, что важное для данного исследования предположение о принципиальной слабости политической теории, её бедности, следует рассматривать как раз в этом ключе, с точки зрения данного метода, ведь оно куда менее жёсткое или, по-другому, более «плохое», чем предположение о том, что теории в достаточной степени покрывают имеющееся множество фактов.

В свете только что сказанного по поводу метода, любая политическая теория должна сегодня восприниматься не столько как «сеть», «улавливающая» факты, сколько как *путь* в море фактов, где ключевыми точками, так сказать, опорными пунктами служат как раз упомянутые *наименее жёсткие положения*.

Не могу не упомянуть одной альтернативы утверждению о бедности, слабости политической теории. Возможно, что собственно политическая теория на самом деле развита во вполне достаточной степени (может быть даже в большей, чем, например, естественнонаучная), иллюзия же недостатка теории возникает из-за частой невозможности более-менее чётко разграничить прежде всего политические, социологические и экономические факты. Однако, как справедливо указывает И. Валлерстайн, в настоящее время подход, в соответствии с которым сферы политологии, социологии и экономики рассматриваются как достаточно независимые друг от друга, уже устарел. То есть недостаток теории всё равно на лицо, пусть и не собственно политической.

Возможно также, что к настоящему моменту исчерпались *философские основания*, на которых зиждилась политическая наука. В таком случае мы нуждаемся в пересмотре этих оснований.

Ещё несколько моментов, подытоживая ту часть заключения, которая касается общетеоретической части работы.

Поскольку я попытался подойти к анализу взаимоотношений теории, дискурса и политической реальности с, так сказать, *метатеоретических* позиций, и теорию, и дискурс, и реальность следует рассматривать как особые *сущности* — такова важнейшая установка работы. Важнейший же посыл работы таков: «расстояние» между теорией, дискурсом и реальностью гораздо больше, чем принято считать, «сочленение» их гораздо свободнее, система, которую они образуют, «расхлябаннее». Всё остальное вытекает из этого предположения и по большей части касается того, что происходит в «пространствах» между этими компонентами.

Теперь следует сказать несколько слов о второй части работы, посвящённой конкретным иллюстрациям общей теории.

Как я уже писал выше (см. краткое предуведомление к приложениям), большинство представленных исследований были сделаны, так сказать, по случаю, они касались актуальных — по крайней мере, так мне казалось — вопросов украинской политической ситуации, а также политической теории и осуществлялись либо в *предчувствии* появления общей теории, либо непосредственно параллельно с её разработкой. Последовательно остановлюсь на соответствующих «блоках» (то есть «украинском» и теоретическом). Не стану повторять то, что было уже сказано, а постараюсь остановиться на моментах, которые либо остались не прояснёнными, либо дополняют, либо создают более широкий (или просто *другой*) контекст для восприятия изложенного.

Начну с «теоретического» блока, а именно, теории демократии.

Как было отмечено в соответствующем пункте, то, что демократия «широко шагает» по поверхности планеты вовсе не означает, что теория демократии также бурно развивается. Скорее уж следует ожидать обратного. Здесь я вполне солидарен с К. Мангеймом, считавшим, что рано или поздно утопия становится идеологией (повторюсь — согласен в первом приближении, то есть если понимать идеологию и утопию так, как их понимал Мангейм; другое дело, что я не совсем согласен с таким пониманием идеологии и утопии — об этом также шла речь). Однако я не могу не заметить, что как раз случай с теорией демократии наглядно демонстрирует, насколько далеко теория может расходиться и с дискурсом, и главное, с реальностью (или фактами). Причём, как кажется, без всякого ущерба и для теории, и для дискурса (хотя, возможно, не для реальности?).

Здесь я хотел бы сделать одно важное уточнение. Следует ли считать такую ситуацию *патологической*? То есть такой, которая нуждается в срочном исправлении? И что следует исправлять — теорию, дискурс или реальность?

Что касается теории, то своё мнение я уже составил — безусловно, теория нуждается в «апгрейде», причём существенном. Причём никакой математический аппарат — сколь угодно развитый — тут уже не поможет. Скорее наоборот. Либо теория (точнее, *программа* — или, более точно, аналог научно-исследовательской программы) должна быть *заменена*. Достаточная причина для этого — нужды теории, или, по-другому, внутренние побуждения учёных и философов. Если философ или учёный чувствует, что теория по каким-то причинам «некондиционна», то уже это его чувство — суть необходимое и достаточное условие для того, чтобы начать что-то делать с теорией. Причём в независимости от того, что об этом думает «общество».

С дискурсом и реальностью ситуация обстоит сложнее, поскольку мнения или желания одних лишь учёных или философов для того, чтобы их менять, недостаточно.

Начнём с дискурса. С точки зрения представленной в первой части работы теории, ситуация выглядит так.

Поскольку связь между теорией, дискурсом и реальностью далека от линейности, время перехода концептов, или, лучше сказать, *слов* теории в дискурс может быть значительным, а дискурс — как, впрочем, и теория — способен «покрыть» очень незначительное количество фактов, можно предположить, что существенная неадекватность демократического дискурса реальности, ощущаемая сегодня многими, может без каких-либо катастрофических последствий длиться довольно долго. Хотя, повторюсь в n-й раз, многие — в том числе учёные и философы — слишком плотно связывающие реальность с дискурсом и, вообще, придающие слишком большое значение словам, склонны воспринимать её, эту ситуацию, как несущую неминуемые потрясения (или, по крайней мере, свидетельствующую об их приближении). Да, потрясения, возможно, и будут, но можно ли их связывать именно с процессами в сфере дискурса, можно ли утверждать, что процессы в сфере дискурса являются однозначно индикативными — тот ещё вопрос! В любом случае, мы можем быть уверены в одном (и об этом однозначно свидетельствует практика) — очень слабая корреляция дискурса и реальности (или фактов) может наблюдаться очень, очень долго.

Теперь что касается реальности (точнее, необходимости её изменения). Ситуация здесь вполне аналогична ситуации с дискурсом. Если мы примем, как предполагал (явно или неявно) К. Мангейм, что между теорией и реальностью существует плотная, непосредственная связь, что государственные структуры выстраиваются строго по теории, что «остаток», не покрытый теорией, сравнительно мал, то тогда ситуация действительно критическая. То есть демократические институты нуждаются в срочном реформировании. Если же мы предположим, что «зазор», люфт между теорией и реальностью гораздо больший, чем склонны считать многие интеллектуалы (в силу, так сказать, *профессиональной деформации* — см. приложение о роли интеллектуалов), то проблемы в сфере демократической теории вовсе не однозначно свидетельствуют, например, о том, что демократические институты стали «неэффективными». Вообще говоря, эти институты и раньше могли быть столь же неэффективными, какими они стали казаться сегодня, просто эта их неэффективность могла не настолько бросаться в глаза. Хотя ради научной строгости не могу не допустить, что бросаться в глаза она, эта неэффективность, могла начать именно вследствие развития демократической теории…

Несколько слов о том приложении, в котором я рассматриваю вопрос об аморальности политиков. К «затравочным», вводящим в тему утверждениям, которые были приведены в начале этого приложения (например, о том, что оно служит иллюстрацией общей теории, или что оно имеет своей целью создать некую базу для возможной дальнейшей дискуссии и т. д.)

следует прибавить такое: одной из важнейших целей, которые я преследовал, вдаваясь в достаточно подробный разбор темы аморальности политиков, было сформулировать в наукообразном виде некий возможный *предрассудок*, популярное среди многих людей верование, в соответствии с которым власть всегда принадлежит *плохим людям*. Ставя такую цель, я, по сути, хотел, чтобы та цепочка рассуждений, которую я выстроил в предположении, что правят худшие (прежде всего в моральном отношении), была самым решительным образом *опровергнута*. Надеюсь, благодаря основательности, с которой я попытался подойти к анализу этой проблемы, благодаря тому, что я попытался максимально чётко сформулировать основные трудности, с которыми столкнётся любой исследователь, взявшийся за эту тему, мне удалось создать все возможные условия для того, чтобы такое опровержение было *максимально основательным*. Следует отметить, что отчасти это касается всей работы в целом. По крайней мере, как мне кажется, наиболее правильно будет рассматривать её как одну большую гипотезу.

Прежде чем перейти к «украинскому» блоку, хочу остановиться на следующем вопросе. Как можно заметить, я неоднократно и здесь, и в тексте работы использую термины «реальность» и «факты» таким образом, будто либо они взаимозаменяемые (против чего я сам ранее решительно выступил), либо я просто не знаю, какой из них в каждом конкретном случае следует употреблять. Отчасти верно и то, и другое. Однако эта ситуация на самом деле не свидетельствует о моем недостаточном владении материалом (или языком). Объясняется она *простой неуловимостью реальности*: коль скоро реальность — это то, что нельзя выразить словами, то в конкретных случаях анализа взаимоотношений теории и реальности и проще, и понятней, и привычней пользоваться терминами типа фактов или феноменов, надеясь, что читатель догадается по контексту, что на самом деле речь идёт именно о реальности. Определённую роль, разумеется, играет и отсутствие развитого теоретического аппарата, позволяющего писать о реальности как о реальности (а не как о фактах).

Теперь, наконец, об «украинском вопросе». Попытаюсь резюмировать основные его идеи несколько необычным образом, а именно через анализ тех трудностей, с которыми сопряжена жизнь украинского политолога. А жизнь у него действительно трудная. Не в смысле, так сказать, экономическом (точнее, не только в этом смысле), а в смысле 1) отсутствия достаточной для «работы» теории и 2) частого *отсутствия предмета для политологического анализа*. Строго говоря, эти два момента неразрывно связаны и, пожалуй, толкуют об одном и том же, просто немного по-разному. Однако для большей ясности изложения я решил их разделить.

Начну с первого момента.

Дело в том, что современная политическая теория была создана и продолжает развиваться в основном на Западе, в Западной Европе и США. Даже не вдаваясь в анализ отличий западных обществ от восточных, капиталистического блока от почившего социалистического и т. п., а ограничившись только современной ситуацией, можно с очевидностью констатировать, что западные страны являются куда более сложными, куда более структурированными, чем та же Украина (а также любые другие страны бывшего СССР). Соответственно, и теория, разработанная для этих стран, является с одной стороны более сложной, чем та, что необходима нам, а с другой — в принципе *не той*, в которой мы нуждаемся. Поясню свою мысль на конкретном примере.

Возьмём партийную систему. Мощное развитие теория политических партий получила на Западе тогда, когда этих партий *уже давно* было множество, когда партии *уже давно* были мощными, когда можно было с уверенностью говорить о существовании партийной системы. Соответственно, мало того, что теории партий были западными, они ещё и касались довольно сложного предмета, предмета, *существование* которого никем не ставилось под сомнение.

Наоборот, то, что мы можем наблюдать в сфере партий современной Украины, во-первых, очень далеко от какой-либо стабильности, а во-вторых, далеко от того, чтобы претендовать на название *системы*. На счёт первого момента возражений, вероятно, ни у кого не возникнет, для того же, чтобы убедиться в справедливости второго, достаточно попытаться найти *партийные офисы* в каком-либо украинском городе, пусть даже и достаточно большом: если таковые и найдутся, то только нескольких самых крупных партий (или известных, поскольку о величине партий сегодня судить трудно — ещё один признак отсутствия партийной системы), да и то, скорее всего, там либо будет закрыто, либо никого из людей, с которыми можно было бы предметно поговорить, договориться о сотрудничестве и т. п., не окажется.

По поводу украинской партийной системы следует добавить, что даже та ситуация, которую я попытался описать, используя концепт «партия-ФПГ», похоже, уже осталась в прошлом (что, впрочем, не означает, что этот концепт нельзя использовать для анализа и, главное, *пропаганды*, в другой стране).

Однако вернёмся к несчастной судьбе украинских политологов. Поскольку большинство из них получили классическое политологическое образование (классическое — потому что основанное на изучении классических западных политических теорий), они, вглядываясь в ситуацию, которая сложилась на Украине, лишь с большим трудом могут различить отдельные фрагменты, хоть как-то соответствующие этой теории. Причём, те фрагменты, которые они видят, чаще всего оказываются результатом попыток *симулировать* черты западных партий и западной партийной системы (возможно, сознательных, направленных на то, чтобы намеренно ввести в заблуждение «наблюдателей»). Следует отметить, что в этом смысле учёные и философы, не имеющие специального политологического образования, находятся в лучших условиях, поскольку их взгляд не зашорен западной теорией.

Что остаётся политологу? Либо, воспользовавшись западной теорией, попытаться что-то сказать на основе имеющихся фрагментов, либо ничего не говорить, либо попытаться разработать более адекватную нашим реалиям теорию.

Если он пойдёт по первому пути, то его анализ будет совершенно формальным, поверхностным и потому бесполезным. Он никак не будет отражать глубинных процессов, происходящих в украинском обществе, и не сможет служить основой для сколько-нибудь достоверных прогнозов. Обычно те политологи, которые выбирают этот путь, замыкаются в каком-то узком сегменте (например, анализе выборной конъюнктуры), решительно не замечая ничего вокруг (например того, что результаты выборов уже давно практически ни на что не влияют).

Второй вариант, безусловно, более честный, чем первый, рассматривать нет смысла, поскольку он характеризует скорее личность политолога, чем состояние политической сферы (хотя и о состоянии политической сферы он говорит немало).

Остановимся более подробно на третьем варианте. Здесь политолога также подстерегают не особенно приятные сюрпризы.

Во-первых, он сразу же столкнётся с тем, что теории, на которую он смог бы положиться, теории, которую он смог бы развить, просто не существует. То есть ему придётся выстраивать всё практически с нуля. Либо «компоновать» вместе разные теории. Однако этот последний вариант чреват всеми теми недостатками, которыми чреват эклектизм.

Во-вторых, сам предмет анализа не может не вызывать определённого упадка духа. Поясню. Как я уже говорил, любой современный политолог воспитан на классических политических теориях, теориях, которые чаще всего создавались либо в пору зрелости той или иной политической системы, либо в пору её интенсивного становления. То есть касались ситуаций, куда менее удручающих, чем та, что сложилась на Украине. Поэтому, когда он, такой политолог, сталкивается с украинскими реалиями, у него может возникнуть ощущение, что он анализирует процессы разложения и упадка тогда, когда мог бы анализировать процессы разви-

тия и становления. Или, по-другому, чувства, которые он испытывает, сродни чувствам человека, который вынужден мастерить телегу, зная, что все уже давно ездят на машинах.

Конечно, с научной точки зрения эти процессы могут быть не менее интересными, чем любые другие, а теория, построенная в результате их созерцания, не менее ценной, чем теории, построенные при другой конъюнктуре (именно этим я и оправдывал свои усилия, когда работал над приложением «Распад или становление?»).

Найдёт ли созданная им теория признание? Прежде всего на Западе? Поймут ли её? Это важно, поскольку сегодня именно Запад задаёт тон, а потому и определяет ценность политических исследований. Обнадёживать в каком-то смысле может только то, что, возможно, весь мир сегодня в той или иной мере переживает фазу, в которой процессы разрушения и деградации составляют немалую долю всех происходящих процессов.

Теперь по поводу второго момента («отсутствия предмета для политологического анализа»). Как станет вскорости очевидно, он вполне вытекает из первого. Суть его состоит в том, что пространство собственно политики непрерывно сужается и упрощается. Отчасти это связано с непрекращающейся деградацией украинского общества, отчасти — с переходом полномочий по принятию политических решений к центрам, находящимся за пределами Украины.

Следует отметить, что когда я говорю о сужении политического пространства, я опять же имею в виду политическое пространство, понимаемое в классическом, *западном* смысле. Как пространство партий, выборов, политических коалиций и проч. То есть о пространстве для приложения *классической политической теории*. В этом смысле предмет политологического анализа с каждым годом становится всё меньше и меньше. Причём почти в *физическом* смысле (коль скоро, например, становится меньшим число людей, вовлечённых в активную деятельность политических партий).

Наоборот, нетрадиционные (или как раз традиционные, но давно забытые) формы политической жизни часто выходят на передний план (опять же, часто они совершенно неотделимы от жизни социальной и экономической). Для них пытаются использовать политическую теорию, которая изначально разрабатывалась для примитивных обществ (как то патримониализм или неопатримониализм). Однако этих теорий тоже «не хватает», поскольку украинское общество всё-таки не «примитивное» и, главное, не *изолированное*.

Вся эта ситуация находит свое очевиднейшее отражение в *публичной политологии*, то есть в политологии публичных политических аналитиков и комментаторов, в темах, которые они обсуждают, в том, как именно они это делают. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть ленту новостей или посмотреть телевизор.

Таким образом, сегодня на Украине нет предмета для современной западной политической теории, зато есть некое релевантное множество фактов, идентифицируемых как политические, для адекватного анализа которого нет теории (ни нашей, ни западной).

И последнее. Очевидно, что мои рассуждения о нелёгкой судьбе украинского политолога выстраивались в соответствии с той точкой зрения, которую я высказал в приложении «Распад или становление?». То есть с точки зрения, согласно которой Украина движется по пути деградации и распада. Однако повторюсь, это в значительной степени моё личное мнение, основанное на личном опыте и интуиции. Развитой теории, которая бы позволяла трактовать этот вопрос с более объективных позиций, не существует. При этом я также верю, что украинский народ всё-таки найдёт в себе силы, чтобы переломить ситуацию. Однако моя вера — это, разумеется, не то, о чём стоит слишком распространяться в научной работе.

Авербух В.М. 2010. Шестой технологический уклад и перспективы России (краткий обзор). — *Вестник СтавГУ*. — № 71. — С. 159–166.

Алексеева Т.А. 2000. *Современные политические теории.* — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). — 479 с.

Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма.* — Пер. с англ. — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле». — 288 с.

Апресян Р.Г. 2006. Понятие общественной морали (опыт концептуализации). — *Вопросы философии*. — № 5. — С. 3–17.

Арендт Х. 2008. *Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме.* — Пер. с англ. — М.: Европа. — 424 с.

Арендт Х. 1996. *Истоки тоталитаризма.* — Пер. с англ. — М.: ЦентрКом. — 672 с.

Арендт Х. 2011. *О революции.* — Пер. с англ. — М.: Издательство «Европа». — 464 с.

Бжезинский З. 1998. *Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы.* — Пер. с англ. — М.: Международные отношения. — 256 с.

Бирюков С. 2012. Всепроникающая клиентела. — *Свободная мысль*. — №7/8. — С. 30–41.

Бодрийар Ж. 2000. *В тени молчаливого большинства, или Конец социального.* — Пер. с франц. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета. — 94 с.

Бочаров В.В. 2006. Истоки власти. — *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии: в 2 т. Т. 1. Власть в антропологическом дискурсе.* — Сост. и отв. ред. В.В. Бочаров. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. — С. 169–224.

Бродель Ф. 2006. *Материальная цивилизация: в 3 т.* — Пер. с франц. — М.: Весь мир.

Буратаева А.М. 2007. *Парламентская модель партийного доминирования в Российской политической системе*: *дисс… канд. полит. наук: 23.00.02.* — Волгоград. — 193 с.

Валлерстайн И. 2003. *После либерализма.* — Пер. с англ. — М.: Едиториал УРСС. — 256 с.

Валлерстайн И. 2004. *Конец знакомого мира: Социология XXI века.* — Пер. с англ. — М.: Логос. — 368 с.

Василенко В. 2013. Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности. — *Соціально-економічні проблеми і держава*. — Т. 8. — № 1. — С. 65–72.

Вебер М. 1990. Политика как призвание и профессия. — *Избранные произведения.* — Пер. с нем. — М.: Прогресс. — С. 644–706.

Волин В.М. 2005. *Неизвестная революция 1917–1921.* — Пер. с франц. — М.: НПЦ «Праксис». — 765 с.

Гаман-Голутвина А.Г. 2005. О столкновении морального и нравственного начал в российской политике. — *Полис. Политические исследования*. — № 3. — С. 163–171.

Гельман В. 2010. Россия в институциональной ловушке. — *Pro et Contra*. — Т. 14. — №4–5. — С. 23–38.

Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. 1992. *Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования.* — М.: Наука. — 207 с.

Грин К.Ф. 2011. Политическая экономия авторитарного однопартийного доминирования. — *Полития.* — № 1 (60). — С. 19–49.

Гуриева Л.К. 2004. Концепция технологических укладов. — *Инновации.* — № 10. — С. 70–75.

Гурова И.П. 1998. *Конкурирующие экономические теории*. — Ульяновск: УлГУ. — 180 с.

Гусейнов А.А. 1995. Обоснование морали как проблема. — *Мораль и рациональность*. — Под. ред. Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, Л.В. Максимов. — М.: ИФ РАН. — С. 48–65.

Даль Р.А. 2010. *Полиархия: участие и оппозиция.* — Пер. с англ. — М.: Изд. Дом Гос. Ун-та — Высшей школы экономики. — 288 с.

Демократия… б/г. Демократия. — *Википедия*. — Доступно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Демократия. — Проверено: 05.05.2016.

Демократия: теория… б/г. Демократия: теория и реальность. — *Студенческий портал NURU.RU*. — Доступно: http://www.nuru.ru/polit/005.htm. — Проверено: 05.05.2016.

Жувенель Б. де. 2011. *Власть: Естественная история её возрастания.* — Пер. с франц. — М.: ИРИСЭН, Мысль. — 546 с.

Зодерквист Я., Бард А. 2004. *Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма*. — Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики. — 252 с.

Игнаци П. 2010. Партии и демократий я постиндустриальную эру. — *Политическая наука.* — М.: ИНИОН РАН. — № 4. — С. 49–76.

История и философия… 2006. История и философия науки: *учебное пособие для аспирантов*. — СПб: «Питер». — 368 с.

Кант И. 1965. Об изначально злом в человеческой природе. — *Сочинения: в 6 т. Т. 4, ч. 2*. — Пер. с нем. — М.: «Мысль». — С. 5–58.

Кант И. 1965. Основы метафизики нравственности. — *Сочинения: в 6 т. Т. 4, ч. 1.* — Пер. с нем. — М.: «Мысль». — С. 219–310.

Капустин Б.Г. 2010. *Критика политической философии: Избранные эссе*. — М.: Издательский дом «Территория будущего». — 424 с.

Кара-Мурза С.Г. 2009. *Манипуляция сознанием*. — М.: ЭКСМО. — 864 с.

Каспэ С.И. 2011. Назад к Шилзу: социальные науки, политическая реальность и парадокс безблагодатной харизмы. — *Полития*. — № 1(60). — С. 5–18.

Касьянов Г. 1999. *Теорії нації та націоналізму: монографія.* — К.: Либідь. — 352 с.

Касьянов Г. 1997. Український націоналізм: спроби переосмислення. — *Віче*. — № 1. — С. 134–136.

Козеллек Р. 2005. *Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу.* — Пер. з нім. — К.: Дух і літера. — 380 с.

Кокошин А.А. 2008. *Размышления о технократии и технократах.* — М.: УРСС. — 40 с.

Коллингвуд Р.Дж. 1980. Идея истории. — *Идея истории. Автобиография*. — Пер. с англ. — М.: Наука. — С. 5–320.

Кун Т. 1977. *Структура научных революций*. — Пер. с англ. — М.: Прогресс. — 300 с.

Курас І.Ф. 1999. *Етнополітика. Історія і сучасність*. — К.: УСПП. — 352 с.

Куренной В. 2006. Интеллектуалы. — *Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений*. — Под ред. В. Куренного. — М.: Изд-во Некоммерческий фонд «Наследие Евразии». — С. 5–26.

Лакатос И. 2003. *Методология исследовательских программ*. — Пер. с англ. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак». — 380 с.

Лапкин В.В. 2007. Основные тенденции политического развития в России и на Украине в период 2004–2006 гг. — *Демократия, управление, культура: проблемные измерения современной политики. Политическая наука: ежегодник 2006*. — М.: РОССПЭН.

Леви-Строс К. 2001. *Структурная антропология*. — Пер. с фр. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. — 512 с.

Ле Гофф Ж. 2008. *Рождение Европы*. — Пер. с фр. — СПб.: «Александрия». — 400 с.

Луман Н. 1992. Честность политиков и высшая аморальность политики. — *Вопросы социологии*. — № 1. — С. 69–76.

Лурье С.В., Казарян Л.Г. 2012. Мировая политика и её прогностические индикаторы. — *Полис. Политические исследования*. — № 2. — С. 85–97.

Макаренко Б.И. 2008. Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации. — *Полития*. — № 3(50). — С. 105–124.

Мангейм К. 2000. Проблема интеллигенции. Исследования её роли в прошлом и настоящем. — *Избранное: Социология культуры*. — Пер. с нем. и англ. — М.; СПб.: Университетская книга. — С. 94–233.

Мак-Вильямс Н. 1998. *Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе.* — Пер. с англ. — Москва: Класс. — 480 с.

Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. 2012. Преодоление капитализма: от морального коллапса к моральной революции? — *Полис. Политические исследования*. — № 1. — С. 63–75.

Мельвиль А.Ю. 2007. Демократические транзиты. — *Политология: Лексикон*. — Под ред. А.И. Соловьева. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). — С. 123–134.

Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г. 2011. *Факторы режимных трансформаций и типы государственной состоятельности в посткоммунистических странах: препринт WP14/2011/04 (ч. 1).* — М.: Изд. дом «Высшей школы экономики». — 52 с.

Миллс Ч.Р. 1959. *Властвующая элита*. — Пер. с англ. — М.: Иностранная литература. — 544 с.

Миронов А.В. 2009. *Технократизм — вектор развития глобализации*. — М.: МАКС Пресс. — 132 с.

Моисеева Н.Л. 2009. *Эволюция политической элиты США в период становления индустриального общества (последняя четверть XIX в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: [спец.] 07.00.03.* — М.: МГУ, 2009. — 28 с.

Мороко В.В. 2013. *Тенденции кадрового наполнения руководящего состава партий Украины.* — Доступно: http://www.cis-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=721. — Проверено: 23.10.2014.

Мюллер Ян-Вернер. 2013. *Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века*. — Пер. с англ. — М.: Изд-во Института Гайдара. — 400 с.

Націоналізм… 2000. *Націоналізм: Антологія.* — Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. — К.: Смолоскип. — 872 с.

Ницше Ф. 1997. К генеалогии морали. — *Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм: Сборник.* — Пер. с нем. — Мн.: ООО «Попурри». — С. 299–451.

Олсон М. 2012. *Власть и процветание: Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры*. — Пер. с англ. — М.: Новое издательство. — 324 с.

Олсон М. 1995. *Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп*. — Пер. с англ. — М.: ФЭИ. — 174 с.

Основы идеологии… 2004. *Основы идеологии белорусского государства: учебное пособие*. — Под ред. Г.А. Василевич, Я.С. Яскевич. — Минск: РИВШ БГУ. — 477 с.

Павлова Е.Л. 2008. *Феномен сакрализации и десакрализации власти: социально-философский анализ: дис… канд. филос. наук: 09.00.11*. — Ростов-на Дону. — 141 л.

Рудник С.Н., Павлов Б.А., Старков Б.А., Измозик В.С. 2009. *Подлинная история РСДРП-РКП(б)-ВКП(б). Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций*. — СПб.: Питер. — 327 с.

Политическая конкуренция… 2009. *Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства*. — РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки. — Ред.-сост. Мелешкина Е.Ю., Михалева Г.М. — М.: ИНИОН РАН. — 272 с.

Политическая наука… 2010. Политическая наука: Науч. журн. — № 4: *Политические партии, демократия и качество государственного управления в современном обществе*. — Ред. и сост. номера А.Н. Кулик. — М.: ИНИОН РАН. — 232 с.

Поппер К. 1992. *Открытое общество и его враги: в 2 т.* — Пер. с англ. — М.: Феникс, Культурная инициатива.

Рагозин Н.П. 2004. Партийная система Украины: развитие и особенности. — *Полис. Политические исследования*. — № 1. — С. 89–101.

Розумний М.М. 2011. Концептуальні засади політики ідентичності в Україні. — *Стратегічні пріоритети*. — № 2. — С. 21–26.

Салмин А.М. 2009. *Современная демократия: очерки становления и развития*. — М.: ФОРУМ. — 384 с.

Толстой Л.Н. 1956. Религия и нравственность. — *Полное собрание сочинений в 90 т. Т. 39.* — М.: Художественная Литература. — С. 3–26.

Трунтягин А.А. 2011. Процессы формирования доминирующей партии в постсоветской России. — *Вестник Томского государственного университета, Философия. Социология. Политология*. — № 3(15). — С. 93–101.

Туроу Л. 1999. *Будущее капитализма*. — Пер. с англ. — Сибирский хронограф. — 432 с.

Український націоналізм… 2010. *Український націоналізм: антологія в 2 т.* — Упорядник В. Рог; составитель В. Рог. — К.: Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи.

Фельштинский Ю.Г., Прибыловский В.В. 2010. *Корпорация. Россия и КГБ во времена президента Путина*. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб. — 568 с.

Фисун А.А. 2006. Демократия*, неопатримониализм и глобальные трансформации: монография.* — Харьков: Константа. — 352 с.

Франкл В. 1990. *Человек в поисках смысла: сборник*. — Пер. с англ. и нем. — М.: Прогресс. — 368 с.

Фрейд З. 1999. *Введение в психоанализ. Лекции.* — Пер. с нем. — СПб.: Алетейя СПб. — 279 с.

Фрейд З. 1990. Психопатология обыденной жизни. — *Психология бессознательного*. — Пер. с нем. — М.: Просвещение. — С. 202–310.

Фруассар Ж. 2009. *Хроники. 1325–1340.* — Пер., сост., предисл., прим., указат., М.В. Аникиева. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та. — 655 с.

Фуко М. 2010. *История безумия в классическую эпоху*. — Пер. с франц. — М.: АСТ МОСКВА. — 698 с.

Фукуяма Ф. 2004. *Конец истории и последний человек.* — Пер. с англ. — М.: «Издательство АСТ». — 588 с.

Хабермас Ю. 2001. *Вовлечение другого. Очерки политической теории*. — Пер. с нем. — СПб.: Наука. — 417 с.

Хайек Ф.А. 1992. *Дорога к рабству.* — Пер. с англ. — М.: «Экономика». — 176 с.

Хантингтон С. 2004. *Политический порядок в меняющихся обществах*. — Пер. с англ. — М.: Прогресс-Традиция. — 480 с.

Хаэр Роберт Д. 2007. *Лишенные совести. Пугающий мир психопатов.* — Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Вильямс». — 288 с.

Хилсмэн Р. 1957. *Стратегическая разведка и политические решения.* — Пер. с англ. — М.: «Иностранная литература». — 192 с.

Швирков О.І. 2009. Ідеологічні партії і партії-ФПГ. — *Політичний менеджмент*. — № 5. — С. 55–63.

Швирков О.І. 2012a. Кінець українського націоналізму? — *Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць.* — Випуск 56 (№ 1). — С. 369–373.

Швирков О.І. 2012b. Націоналізм як чинник структуризації сучасної української політики. — *Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст*. — За ред. М.М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського. — К.: НІСД. — С. 157–163.

Швирков А.И. 2010. Конец демократии? или Демократия как научно-исследовательская программа. — *Credo new.* — № 4. — С. 277–285..

Швирков О.І. 2011. Партія-ФПГ як ключовий елемент української партійної системи. — *Політичний менеджмент*. — № 2. — С. 77–84.

Швырков А.И. 2013. Украина: закономерности распада. — *Полития.* — № 2(73). — С. 34–47.

Швирков О.І. 2010. Український націоналізм як ідеологічний тренд. — *Віче*. — № 8. — С. 30–32.

Шпенглер О. 1993. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т* — Пер. с нем. — М.: Мысль.

Яскевич Я.С. 2003. *Основы идеологии белорусского государства: мировоззренческие ценности и стратегические приоритеты: Учебно-метод. пособ. для вузов.* — Минск: РИВШ БГУ. — 360 с.

Bellamy R. 2010. Dirty hands and clean gloves: Liberal ideals and real politics. — *European Journal of Political Theory.* — № 9 (4). — P. 412–430.

Besley T. Reynal-Querol M. 2011. Do Democracies Select More Educated Leaders? — *American Political Science Review*. — Vol. 105 — № 3. — P. 552–556.

Blaught M. 1986. *Economic History and the History of Economics*. — G.B., Wheatsheat Book Ltd. — 350 p.

Eisenstadt S.N. 1973. *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. — London: Sage. — 95 p.

Eggertson T. 1992. *Economic Behavior and Institutions*. — Cambridge University Press. — 385 p.

Elites… 1992. E*lites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe.* — John Higley, Richard Gunther (eds.). — Cambridge: Cambridge University Press. — 350 p.

Fritz V. 2007. *State-building: a comparative study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia*. — Budapest: Central European university. — 384 p.

Galston W.A. 2010. Realism in political theory. — *European Journal of Political Theory*. — № 9(4). — P. 385–411.

Geuss R. 2009. *Philosophy and Real Politics*. — Princeton: Princeton University Press. — 92 p.

Glass I. Jonson W. 1989. *Economics: Progressions, Stagnation or Degeneration?: An Introduction to the Methodological Issue, Involved in Assessing the Growth of Economic Knowledge*. ss. — New York etc.: Harvester Wheatsheat. — 200 p.

Glass M. 2004. *Yuga: An Anatomy of our Fate*. — Hillsdale, NY: Sophia Perennis. — 456 p.

Hollis M. 1982. Dirty Hands. — *British Journal of Political Science*. — № 12. — P. 385–398.

Honig B. 1993. *Political Theory and the Displacement of Politics*. — Ithaca, NY: Cornell University Press. — 269 p.

Kamilova S. Berg E. 2011. How Can De Facto State be Distinguished from the Puppet State? Analysis of Transnistrian-Russian Relations and Dependences. — *The Estonian Foreign Policy Yearbook*. — Tallinn: Eesti Valispoliitika Instituut. — P. 151–182.

Kitschelt H. 1999. Accounting for Outcomes of Post-Communist Regime Change: Causal Depth or Shallowness in Rival Explanations. — *Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association*, Atlanta, GA, August 31-September 3, 1999.

Koselleck R. 1973. *Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt*. — Frankfurt an Main: Suhrkamp. — 247 s.

Kuzio T. 2001. Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple? — *Politics*. — Vol. 21(3). — P. 168–177.

Lemarchand R. Legg K. 1972. Political Clientelism and Development: A Preliminary Analisis. — *Comparative Politics*. — № 2. — P. 149–178.

Linz J., Stepan A. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. — Baltimore: Johns Hopkins University Press. — 479 p.

Mahoney J., Snyder R. 1999. Rethinking Agency and Structure in the Study of Regime Change. — *Studies in Comparative International Development*. — Vol. 34. — № 3. — P. 3–32.

Nagel T. 1979. *Moral Questions*. — Cambridge: Cambridge University Press.

O'Donnell G. Schmitter Ph. 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. — Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. — 81 p.

Owens P. 2008. The ethic of reality in Hannah Arendt. — *Political Thought and International Relations: Variations on a Realist Theme*. — Oxford University Press, New York. — P. 105–121.

Philp M. 2007. *Political Conduct*. — Cambridge, MA: Harvard University Press.

Political Clientilism… 1981. *Political Clientilism: Patronage and Development.* — S.N. Eisenstadt and R. Lemarchand (eds.). — London: Sage.

Przeworski A. 1991. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. — Cambridge: Cambridge University Press. — 210 p.

Public… 1978. *Public and Private Morality*. — S. Hampshire (ed.). — Cambridge: Cambridge University Press.

Reuter O.J., Remington T.F. 2009. Dominant Party Regimes and The Commitment Problem. The Case of United Russia. — *Comparative Political Studies.* — № 42(4). — P. 501–526.

Rosanvallon P. 2008. *Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust*. — Cambridge: Cambridge University Press. — 348 p.

Skinner Q. 1969. Meaning and Understanding in the History of Ideas. — *History and Theory*. — Vol. 8. — № 1. — P. 3–53.

Skinner Q. 1974. The Principles and Practice of Opposition: The Case of Bolingbroke versus Walpole. — *Historical Perspectives: Studies in English Thought and Society in Honour of J.H. Plumb*. — Neil McKendrick (ed.). — London: Europa Publications. — P. 93–128.

Smith H. 1988. *The Power Game, How Washington Works*. — New York: Random House. — 755 p.

Stabile Donald R. 1986. Veblen and the Political Economy of the Engineer: the radical thinker and engineering leaders came to technocratic ideas at the same time. — *American Journal of Economics and Sociology*. — № 45(1). — P. 43–44.

Sunstein C.R. 1996. *Legal Reasoning and Political Conflict*. — Oxford: Oxford University Press. — 220 p.

Upton C. 2005. *Legends of the End: Prophecies of the End Times, Antichrist, Apocalypse, and Messiah from Eight Religious Traditions*. — Hillsdale, NY: Sophia Perennis. — 115 p.

Wallerstein I. 1974. *The Modern World-System. Vol. 1: Capitalist Agricultural and the origins of the European World-Economy in the sixteenth Century*. — New York: Academic Press. — 410 p.

Walzer M. 1973. Political Action: The Problem of Dirty Hands. — *Philosophy and Public Affairs*. — № 1. — P. 160–180.

Weber M. 1978. *Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology*. — Berkeley: University of California Press.

Whitmore S. 2005. *State-building in Ukraine: The Ukrainian parliament, 1990–2003*. — L., N.Y.: Rutledge. — 222 p.

Williams B. 2005. *In the Beginning was the Deed*. — Princeton: Princeton University Press. — 174 p.